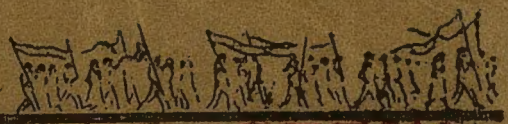
Дб300
Г43

Гессен С.
„Архангельская
баржина"
м. 1932 г.

ДЕШЕВАЯ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА



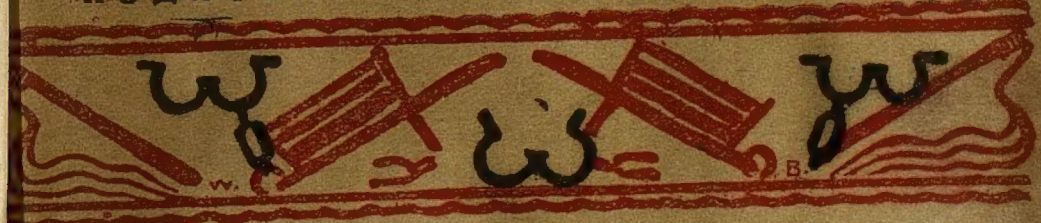
СЕРГЕЙ ГЕССЕН

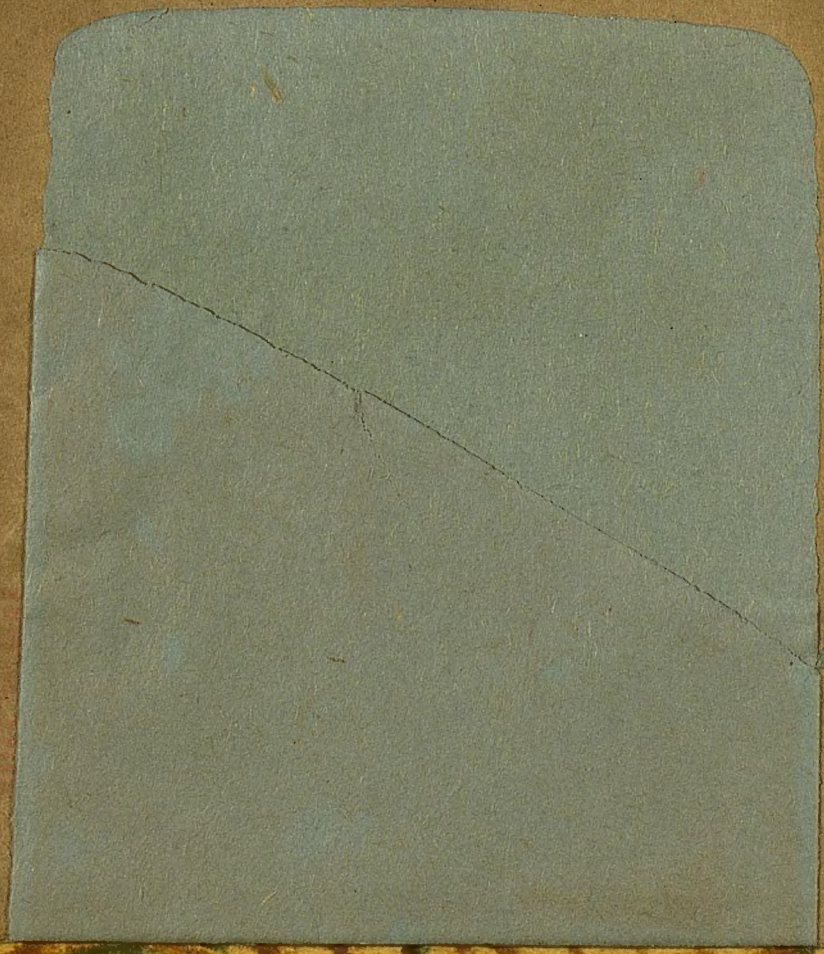
ДБ
300
Г43

АРАКЧЕЕВСКАЯ БАРЩИНА

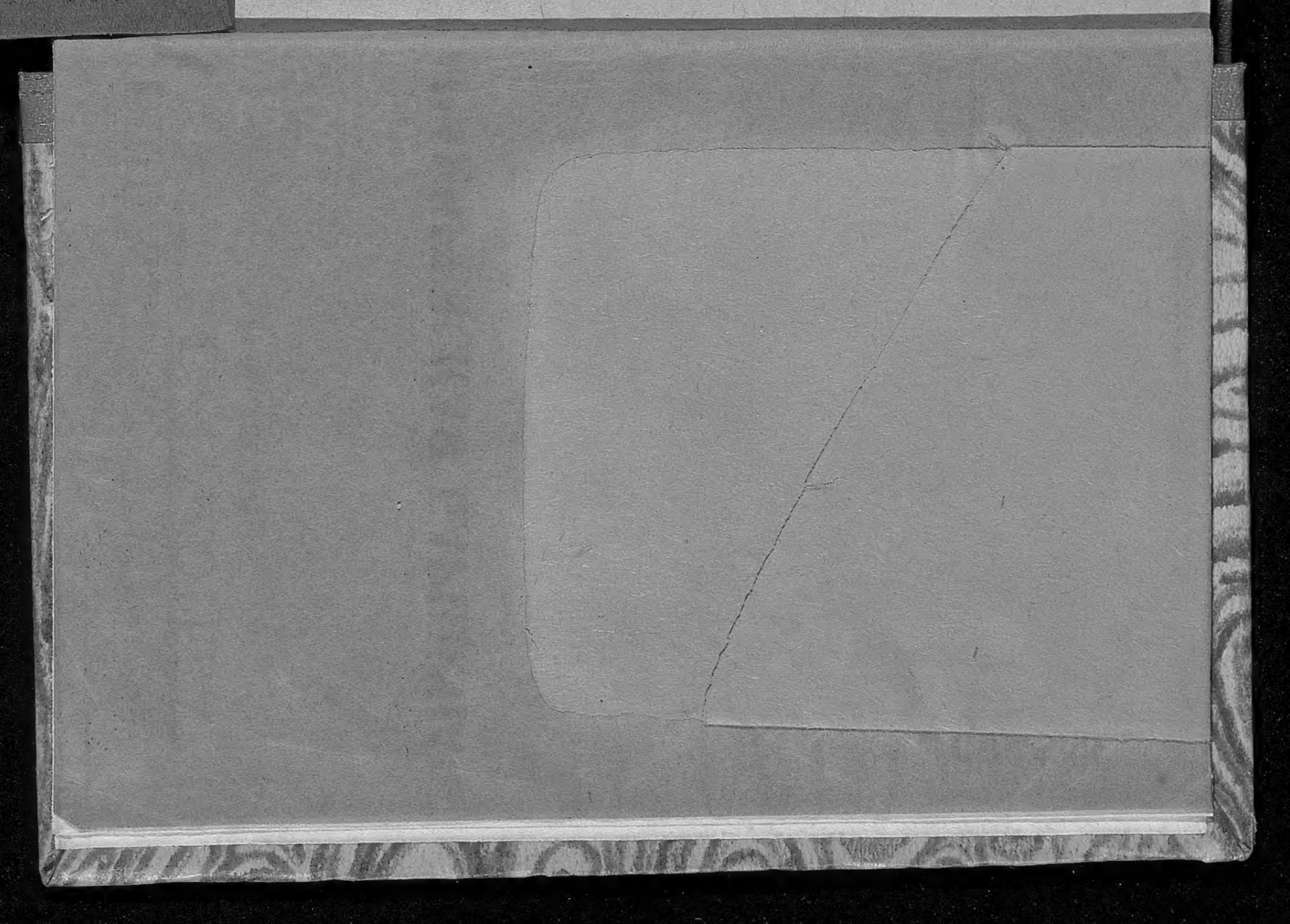
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ ИЗ ЭПОХИ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

1932
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН





ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
ОБОЗНАЧЕННОГО ЗДЕСЬ СРОКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН
И
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ДЕШЕВАЯ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 22—23 ЮНОШЕСКАЯ СЕРИЯ № 22—23

СЕРГЕЙ ГЕССЕН

АРАКЧЕЕВСКАЯ БАРЩИНА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ ИЗ ЭПОХИ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

ОБ'ЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.
172066М

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
МОСКВА

ДЕШЕВАЯ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

1932 г. № 22—23 (356—357)

Обложка работы художника В. Г. Бехтеева

Ответств. редактор Я. Б. Шумяцкий. Технический редактор Н. В. Жданова. Корректор Е. Н. Семеновская.

Сдана в производство 5.V 1932 г. Подп. сан. к печ. ти 17.I. Формат бумаги 72 × 105 см. 3¾ печ. листа 55936 знаков в печатном листе. Издат. №

Уполномоч. Главлита В—30. Заказ № 3973. Тираж 35.200 экз. Центральная типография НКВМ им. Клима Ворошилова Москва, ул. Маркса и Энгельса, 17.

ОТ АВТОРА

Повесть «Аракчеевская барщина» посвящена яркому и интересному эпизоду из истории начала прошлого столетия — созданию так называемых «военных поселений». Смысл этой системы заключался в заселении отдельных областей империи регулярными воинскими частями и «военизированными» крестьянами, причем те и другие должны были совмещать в себе и солдат, и землепашцев. Это была своего рода военная барщина, как и выражались современники. По существу же организация военных поселений представляла собой дерзкий опыт, судорожную попытку самодержавного правительства найти выход из того тупика, в который завели его экономические и политические события последних лет.

Длительные и кровопролитные войны вынуждали правительство держать под ружьем огромную армию. Независимо от военных неудач, содержание этой армии, поглощавшее около половины всего государственного бюджета, окончательно нарушало финансовое равновесие империи. Недостаток в денежных ресурсах, само собой разумеется, ложился основной своей тяжестью на плечи крепостного крестьянства в виде новых налогов, податей, повинностей и пр. Наряду с этим крестьянство стонало под бременем бесконечных рекрутских наборов, вырывавших из деревень все, что

было там молодого и здорового. И эти стенания постепенно переходили в глухой, угрожающий ропот.

Те же рекрутские наборы создавали досадную зависимость правительства от поместного дворянства, владевшего крестьянами, которыми оно вынуждено было жертвовать империалистической политике самодержавия. Впрочем, у поместного дворянства имелся еще и более серьезный повод негодовать на правительство. В 1807 году, вступив в союз с Францией (Тильзитский мир), император Александр I присоединился к «континентальной блокаде». Последняя заключалась в отказе всех государств, связанных с Наполеоном, от торговых сношений с Англией, являвшейся главным врагом Франции. Между тем, русские дворяне издавна привыкли торговать с Англией, и этот разрыв очень больно ущемлял их интересы.

Нанеся тяжелый удар торговле, континентальная блокада дала мощный толчок развитию промышленности, промышленного капитализма, почва для которого была уже достаточно подготовлена к началу XIX столетия.

Промышленный капитал принес и новую идеологию — идеологию буржуазную, в лучшем случае нисколько незаинтересованную в сохранении самодержавно-крепостнического строя. Этот строй был совершенно необходим торговому капиталу, основывавшемуся на эксплоатации рабского труда. Тогда самодержавие являлось той силой, которая заставляла крестьян отдавать свой труд (барщина) либо продукты своего труда (оброк) помещикам-капиталистам.

Но промышленный капитал, в арсенале которого имелись не менее действенные экономические средства воздействия, тяготился крепостным пра-

ом, создававшим между ним и рабочим средостение в виде паразита-помещика. Этот последний не только оказывался распорядителем рабочей силы, но еще и получал, в форме оброка, долю заработной платы крепостного крестьянина-рабочего.

А так как крепостное право было теснейшим образом связано с самодержавием, то и самодержавие оказывалось стоящим на пути свободного развития промышленного капитализма.

Крепнувшая буржуазия уже поднимала голову, уже протягивала руку к политической власти. Вместе с тем и в правящем классе обнаруживалась острая разноголосица. Передовые слои дворянства, захваченные либеральным движением, начинали сознавать преимущества вольнонаемного труда. А основная косная масса еще непреодолимо тяготела к старому крепостному укладу.

В сумме вырисовывалась безрадостная для правительства картина постепенной утраты авторитета во всех слоях населения. Самодержавие оказывалось всем в тягость благодаря той решительной ломке хозяйственных и политических форм, которая, начавшись на Западе, распространилась и на отсталую Россию. И из всего этого, особенно еще на фоне начавшегося брожения в войсках, выростала вполне реальная угроза самому дальнейшему существованию самодержавного строя.

В этих условиях создание военных поселений могло представляться якорем спасения. Планомерное осуществление системы военных поселений сулило правительству со временем образование огромной армии, обслуживавшейся продуктами собственного труда, что должно было выравнять государственный бюджет. Тем самым порвалась бы несносная зависимость правительства от по-

местного дворянства. И, что самое главное, это изолированное войско, нечто вроде государства в государстве, воспитанное в традициях слепого повиновения державной воле, рисовалось в будущем новой опричниной, несокрушимым кулаком, силой, могущей противостоять всем враждебным самодержавию стихиям.

Из всего этого совершенно очевидно, что создание военных поселений органически вытекало из экономических и политических условий начала XIX века, а не было безумным капризом, сумасшедшей игрушкой самодержавного правительства. Поэтому автор полагал, что познакомиться с бунтами военных поселений можно только на фоне эпохи, подсказавшей их создание.

В интересах возможной полноты и яркости картины автор в отдельных случаях погрешил против исторической действительности, некоторые события переместив во времени и в пространстве. Также поступил автор и с отдельными историческими лицами, наделив их в известной мере собирательными, типовыми чертами и несколько изменив их имена.

Цель автора заключалась не только в том, чтобы познакомить читателя с необыкновенным и зловещим явлением военных поселений, но и дать ему представление о жестокой переходной эпохе, породившей их и в условиях которой они только и были возможны.

ЯКОРЬ СПАСЕНИЯ

I

— Смирррна!..

Пронзительный окрик вырывается из самого нутра грузной фигуры на коне перед фронтом. Дрожа и вибрируя, он несется по рядам, отдаваясь десятками голосов штаб-офицеров, как-бы перекликаясь, передающих приказание. Колонны, за секунду перед тем живые и колеблющиеся, замирают в каменной неподвижности. Головы резко поворачиваются направо и застывают, устремленные к пыльному облачку, обозначившемуся на краю Царицына луга.

Тысячи людей, из которых спаяны вытянутые в струну шеренги, обязаны на неопределенное время утратить человеческий облик. Они должны обратиться в автоматы, управляемые тем, чей силуэт вырисовывается впереди приближающейся маленькой кавалькады. Они не смеют не только шевелиться, но даже и чувствовать. Высокие кивера,

надетые на их головы, сделаны из кожи и металла. Они весят по нескольку фунтов, а стальная чешуя так туго притягивает их к подбородку, что у солдат глаза вылезают на лоб. Но они не смеют этого чувствовать. Они не должны чувствовать и тяжести своей бессмысленной аммуниции, и того, что ранцевые ремни так тесно затянуты на груди, что солдаты едва могут дышать и всякую минуту рискуют потерять сознание во фронте.

Император Александр едет медленно. Усталое лицо его задумчиво, и одни глаза заученно улыбаются. В тысячный раз он вспоминает другое, давнишнее зимнее утро, наступившее после той страшной ночи, когда заговорщики под вороний грай ворвались в опочивальню его отца. И, как нынче, войска приветствовали известие о том, что император Павел Петрович скоропостижно скончался от апоплексического удара и на престол вступил он, Александр.

Император, по привычке, подозрительно оглянулся. Его взгляд встретился с настороженными, как у хищного зверя, глазами новопожалованного генерал-адьютанта Голенищева-Кутузова. Александр содрогнулся от воспоминания. Как он мог забыть, что этот человек из числа тех, которым он был обязан своим внезапным воцарением? Это тяжелое воспоминание как-будто подтверждало мысль, давно уже сверлившую его мозг, что ни на кого нельзя положиться и никому нельзя верить.

Не далее, как вчера, петербургский военный губернатор Балашов доставил Александру копию донесения французского посла своему правительству. Коленкур сообщал, что в дворянских кругах Петербурга смело и развязно толкуют о возможности и даже неизбежности нового переворота. И если сейчас еще преждевременно опасаться за

жизнь русского императора, то потому только, что его охраняет страх перед воцарением цесаревича Константина, в котором угадывают нового Павла.

Александр знал не только из секретных депеш об остром недовольстве, которое его политика вызывала в дворянстве. Аустерлицкое поражение и затем Тильзитский мир нанесли непоправимый удар популярности его среди правящего сословия. Дворянство не могло простить Александру континентальной блокады, этой жертвы чужой политике. Прерванные торговые и коммерческие сношения с Англией наносили столь чувствительный ущерб имущественным интересам дворянства, что никакие другие выгоды мира не могли вознаградить этой потери.

Ропот шел отовсюду. Ядовитый и приглушенный, он выползал из столичных салонов, зло остривших над сомнительными военными успехами «победоносных российских орлов». По проселочным дорогам, по глухим тропам, проложенным сотнями тысяч ног рекрутов и новобранцев, он полз из далеких деревень, задыхавшихся в тисках крепостного права, под удвоенным гнетом растущих податей, налогов и всевозможных повинностей. Этот ропот был еще много страшнее. За ним чудился Александру призрак новой пугачевщины.

И сейчас, в виду своего любимого зрелища, перед фронтом вытянутых в линию полков, Александр, казалось, ощущал недовольство и тревогу, все более проникавшие в его войска, казалось, слышал ропот, уже раздававшийся в это время под хмурыми казарменными сводами. И этот ропот был всего страшнее.

Конные горнисты прорезывают воздух резкими звуками фанфары.

— Смирно! Палаши и сабли вон! — несется надрывный крик начальника парада. Хоры музыкантов играют гвардейский поход. Начальник парада мчится навстречу всероссийскому повелителю и, опустив саблю к шпоре, отдает рапорт. Александр окидывает рассеянным взглядом огромный Царицын луг, залитый пестрой массой войск. Прямо перед ним — темнозеленые шеренги гвардейской пехоты в белых крагах. За ними кавалерийские колонны: синие и желтые кирасиры, белые кавалергарды и т. д. и т. д., целое море разнообразных киверов, над которыми ветер колеблет белые султаны и пестрые плюмажи, перья и конские хвосты.

Но высокому зрителю на сей раз как-будто не доставляет обычного удовольствия эта парадная батальная картина. Больше по привычке, он со вниманием наблюдает церемониальный марш, отдает приказы и во все концы рассылает своих ад'ютантов. На усталом лице попрежнему улыбаются одни глаза. Солдаты хорошо изучили эту улыбку. Так же, не меняя выражения, Александр, за малейший промах во фронте, за не во-время вырвавшийся вздох или потускневшую мундирную пуговицу, рассыпает приказы о жесточайших наказаниях, в которых так изощрилось большинство гвардейских командиров.

Солдаты устали. Часы, проводимые на плацу в неподвижности манекенов, под тяжелой аммуницией, с нечеловеческим страхом в сердце, далеко не для всех оканчиваются благополучно. Кроме проштрафившихся, которых прямо с поля повлекут на полковые гауптвахты для исполнения наказаний, многих, потерявших сознание, сброшенных с коней или зашибленных тяжелым колесом орудия, после парада подберут черные лаза-

ретные фуры. Российская армия и в мирное время несла незаметные потери.

Парад окончен. Барабаны бьют отбой. Под мелкую барабанную дробь и тяжелый грохот труб войска медленно оставляют площадь.

2

Был такой случай. На учении седоусый вахмистр, грудь которого была украшена медалями за Фридлянд и Аустерлиц, не понял приказания генерала Левашова. Генерал повторил приказание, но вахмистр уже потерял голову и стоял, как истукан.

— Приходи, голубчик, ко мне в обед, — мягко сказал Левашов, трепля вахмистра по плечу. — Я тебе раз'ясню смысл моего приказания.

У Левашова обедали два приятеля: подполковник Дамас, будущий французский министр, и флигель-ад'ютант Клейнмихель, знаменитый законодатель шагистики. Покуда друзья чревоугодничали в столовой, дюжие гвардейцы пороли вахмистра рядом, в гостиной.

— Не слышу ударов! — покрикивал Левашов, прожевывая балык.

— Петр Андреевич полагает, что солдата должно наказывать часто и всякий раз понемногу, — кивнул Дамас головой на Клейнмихеля. — Это неприложимо к русскому солдату. В таком случае в нем притупляется страх перед экзекуцией, и он начинает относиться к ней с философическим равнодушием.

— Какова же ваша система, барон? — полюбопытствовал Клейнмихель.

— Солдата надо наказывать редко, но зато всякий раз давать ему никак не менее двухсот па-

лок, — тоном школьного учителя об'яснял Дамас. — Только при этих условиях экзекуция всегда будет сохранять свое нравоучительное действие.

Из гостиной слышались равномерные удары, прерываемые криками и стонами, которые постепенно переходили в нечеловеческий, звериный вой. Обеды в то время длились долго. Когда гости, наконец, перешли в кабинет и взялись за длинные чубуки, груду окровавленного мяса сложили на носилки. Вахмистр скончался на пути в госпиталь.

Впрочем, старый вахмистр не был исключением. Ни годы, ни медали за верную службу, ни боевые заслуги не спасали от жесточайших наказаний за малейший промах по службе. Офицеры российской армии, особенно те, которые на войне были «застенчивы» и предпочитали отсиживаться в тылу, проявляли себя истинными виртуозами, художниками по части зверских истязаний. Избивали до полусмерти, в обнаженные раны втирали соль и снова били. Сотни, тысячи ударов сыпались на обнаженные спины. Тесаками, розгами, шпицрутенами, шомполами, а то и вообще всем, что попадалось под разгоряченную руку.

А не согрешить во фронте, избежать наказания было делом очень трудным, пожалуй, и вовсе невозможным. На учениях всякое произвольное движение солдата, вплоть до учащенного дыхания, вменялось в преступление. Господа штаб- и обер-офицеры ползали по плацу на брюхе, наблюдая за шагом марширующих солдат, проверяли каждый крючок, каждую пуговицу. Покачнувшийся султан на кивере либо плохо нафабренный ус — это уже было нарушением дисциплины.

При всем том солдаты еще и голодали. Из нищенских сумм, отпускавшихся на их довольствие,

удерживали за все, вплоть до розог, изводившихся на их спинах. Да еще безбожно крали господа офицеры.

Так за однообразной красивостью парадов, за блеском касок и киверов, за расцвеченными мундирами таилось отчаяние несчастных, обреченных всю жизнь тянуть ужаснейшую каторжную лямку. Ибо при двадцатипятилетнем сроке службы в таких условиях немногие могли надеяться дожить до того дня, когда им можно будет скинуть солдатский мундир, который был много страшнее бубнового туза на спине.

И вот бессловесные и безвольные на парадах и учениях манекены начинали постепенно оживать в казармах. В глубине солдатской массы зрело возмущение, еще не смевшее прорваться наружу, но уже явственно чувствуемое и от своей приглушенности тем более грозное.

Император Александр Павлович все это очень хорошо знал. Знал он и еще многое, от чего сильнее сутулилась его спина и все чаще возвращалось воспоминание о трагической смерти отца, императора Павла. Россия дышала тяжело и напряженно, едва оправляясь от долгой, упорной борьбы с Наполеоном. Пульс государственного организма бился напряженно, неровно, как у человека, перенесшего опасную и изнурительную болезнь, когда всякую минуту может случиться рецидив. Ни для кого, а для Александра, конечно, больше других, не было секретом, что союз непрочен, что бой еще не решен и война не сегодня-завтра возобновится с новой силой. В предвидении этого, Россия, казалось, в последнем напряжении вынуждена была мобилизовать новые силы, все умножая многотысячную армию, стоявшую под

ружьем. Военные расходы росли с невиданной быстротой, поглощая уже около половины государственного бюджета.

3

В библиотеке Павловского дворца Александру попалась книга, принадлежавшая перу военного министра революционной Франции Жозефа Сервана. Помятые и, видимо, внимательно читавшиеся страницы были испещрены восклицательными знаками и короткими замечаниями, свидетельствовавшими о том, что читатель не только с интересом прислушивался к дерзновенным мыслям автора, но и пытался приложить их к России. Александр узнал руку отца и заинтересовался.

В книге шла речь об устройстве пограничных военных и вместе земледельческих поселений. Это была смелая и необычайно яркая утопия, на манер тех, которыми увлекали за собой первые французские социалисты, только совсем в другом роде. Французский военный министр горячо рекомендовал такую систему, при которой поселенец будет одновременно и воином, и земледельцем.

Набросанная смелыми и красочными мазками, картина увлекла Александра. Потрепанные листы книжки, некогда приковавшие внимание императора Павла, казалось, подсказывали блестящий выход из трагического положения, в котором оказался его наследник. Александр отправил книгу генерал-ад'ютанту Аракчееву с предписанием срочно перевести книгу на русский язык (Аракчеев не владел французским) и подготовить материал, чтобы иметь суждение по этому предмету.

Слепой и бездушный исполнитель царской воли, генерал Аракчеев не был способен к полету фантазии. Он с нескрываемым недоверием отнесся к

рассуждениям старого якобинца. Картина, нарисованная Жозефом Серваном, испугала его широтой размаха и смелостью кисти. Но тем не менее «августейшее» поручение он выполнил с привычным усердием и даже перемазал мундир, копаясь в архивном хламе военной коллегии.

Тем временем император Александр, уже весь охваченный новым замыслом, напряженно искал в истории следов практического применения этой идеи. И он нашел их. И Аракчеева встретил во всеоружии знания. Но и тот не потерял времени даром.

В одной из папок Военной Коллегии, на обертке которой значился «1804 год», Аракчееву попалась докладная записка некоего генерала Русанова об организации военных поселений. Эту-то записку, уже успевшую пожелтеть по краям, Аракчеев привез с собою во дворец. Генерал-майор Русанов, из числа так называемых «неудачников», был замешан в какой-то скверной истории с военными поставками, т. е., видимо, попросту в краже. Высшее начальство посмотрело на это сквозь пальцы, однако от дальнейшего производства оборотистого генерала воздерживалось.

Оскорбленный в лучших чувствах, Русанов объяснял, что, «претерпев сам много от неправды людской», стал особенно чуток к чужим страданиям. Он обращал внимание Военной Коллегии на «прискорбное и всякого сожаления достойное» положение инвалидов и старослужащих нижних чинов. Генерал рекомендовал организовать из них военные поселения, «дабы они земледельческим трудом могли снискать удовлетворение скромных нужд своих». Побуждаемый «милосердием», Русанов соглашался сам призреть несчастных на посту главноначальствующего над поселениями.

Ему, конечно, мерещились новые небезвыгодные операции, чины и почет. Но император Александр написал поперек записки: «Оставить». «Августейший» росчерк покрыли лаком. Тем дело и кончилось. И точно, какая нужда была правительству в этих больных и изувеченных воинах? Россия слишком богата была человеческим материалом, чтобы заботиться о них.

Император внимательно прочитал рукопись и поднял на Аракчеева недоумевающие глаза. В самом деле, генерал Аракчеев не принадлежал к числу людей, способных тревожиться о чужих нуждах. Но Аракчеев и не думал об инвалидах. За сусальным «милосердием» отставного казнокрада вырисовывалась та же картина, которая пленила царя и показалась несбыточной его верному слуге: солдат в кивере, под медным орлом, перетянутый ранцевыми ремнями, шел в поле за плугом.

Александр воодушевился. Он говорил горячо и со знанием дела, исподтишка наблюдая за недоверчивыми складками, комкавшими серое и жесткое лицо генерала. Совсем недавно в Военной Коллегии получены были сведения о блестящих результатах новой системы комплектования прусских войск. Наполеон I после Тильзитского мира, диктуя свои условия Пруссии, ограничил численность ее армии 40 тыс. штыков. Этим самым Пруссия низводилась на роль второстепенной державы. Прусский генерал Шарнгорст придумал замечательный выход из положения. Солдат, прослужив три года на действительной службе, зачислялся на 12 лет в так называемый «ландвер». Занимаясь хлебопашеством, он на несколько недель в году призывался на военные сборы. Этим достигался двоякий результат. Во-первых, значительно сокращались расходы на содержание войск, а затем

Пруссия, имея в казармах обусловленные 40 тысяч солдат, в любой день могла выбросить на поля новых битв огромную армию.

Александр далее развивал свою мысль. Доказательства возможности осуществления нового проекта еще более увлекали и вдохновляли его. Он напомнил Аракчееву, что и вдоль австрийской границы, еще с XVI столетия, существовали военные поселения. Серый генерал уже понимал всю грандиозность замысла и те заманчивые перспективы, которые сулило его осуществление.

Но возможны ли военные поселения в России? История, казалось, подсказывала отрицательный ответ. Еще Московское государство пыталось охранять южные и восточные окраины поселенными войсками. И потом, в разное время и разные монархи носились с мыслями расселения войск с таким расчетом, чтобы содержание их стоило возможно меньше, а боеспособность возростала бы. Попытки эти, однако, не имели успеха. И для крестьянства и для поселяемых войск они были равно отяготительны, увеличивая повинности тех и других. Постепенно поселяемые солдаты сливались с местным населением и вовсе растворялись в нем.

Александр понимал сомнения Аракчеева. Однако у него на руках был и еще козырь. В последний финляндский поход, год назад, русская армия столкнулась со шведскими военными поселениями, существовавшими в Карелии. Правда, поселяне эти оказались дурными солдатами и без боя сдались неприятелю. Но ведь на то они и шведы! А самое существование этих военных поселений свидетельствовало о возможности организации их в северных областях.

Аракчееву было ясно: идея военных поселений прочно и глубоко внедрилась в мозг царя. Проти-

воречить, доказывать несбыточность этого грандиозного замысла было и бессмысленно и безумно. Прежде всего это грозило потерей своей популярности, своего влияния на Александра. Аракчеев тщательно убрал со лба предательские складки. Лицо его приобрело обычное выражение сосредоточенной готовности. Он поверил, либо сделал вид, что поверил.

Государь и Аракчеев до ночи сидели, низко склонившись над картой Российской империи, как два заговорщика. Выбирали места для первого опыта, обсуждали подробности, подыскивали достойного исполнителя. Жребий был брошен.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

1

Через неделю из Петербурга выехал генерал Лаврецкий, державший путь на город Могилев. Он имел при себе секретную инструкцию. Генерал был скуп на слова и щедр на побои. Многие ямщики и даже станционные смотрители ощутили на себе вес его кулака. Он очень спешил. В Могилеве генерал велел доставить себя прямо к губернатору, с которым имел продолжительную беседу. Затем отправился на постоялый двор и сел писать Аракчееву.

В Могилевской губернии большая часть земель оказалась в частном владении, т. е. принадлежавшей помещикам. Отнимать у них землю, ссориться с ними правительство не хотело. Но в Бобылецком старостве Климовецкого повета[1] нашелся участок земли, предоставленный в трехлетнее поль-

[1] Уезда.

зование крестьянам по особому договору. С крестьянами можно было и не церемониться.

На этом участке решено было основать первое военное поселение, выселив для того крестьян в Новороссийский край. Генерал Лаврецкий, прямой, как палка, в седых вачках, прогуливался по селу, хозяйским оком оглядывал крестьянские строения, поля и выгоны. Следом за ним ходил штабной писарь, что-то отмечал, записывал, а иной раз и вымерял. Сельчане с беспокойством наблюдали за сухопарой фигурой генерала. Но он молчал, а обращаться к нему с вопросами, конечно, не решались.

С писарем было легче сговориться. Сперва и он держался начальственно, воротил нос от мужиков, но скоро пообвык, обжился, стал ходить в гости к старосте, а еще чаще в кабак. И как-то, за чаркой водки, сказал своим собутыльникам: «Скоро на новые места пойдете». И таинственно подмигнул. «Как же это можно? А ежели мы того не желаем? А договор что же?» загуторили крестьяне. Но писарь только хитро посмеивался.

Крестьяне призадумались. К месту они крепко привыкли, земля была плодородна и вспоена их потом, их трудом. Землю эту они уже считали своею. Уходить с нее, казалось им, никак невозможным. Да ведь договор-то не кончился! И порешили, что служивый брешет. На том успокоились и продолжали укреплять свои хозяйства.

Генерал с довольным видом наблюдал, как возводились над избами новые кровли, как строились крепкие амбары и клети, как выгоны опоясывались колючим частоколом. И, возвращаясь домой, отписывал в Петербург, Аракчееву:

«Милостивый государь мой и благодетель граф Алексей Андреевич! Поелику препорученное мне

дело обязан я соблюдать в строгой тайне, то об оном ни от меня, ни от людей моих крестьянам ничего неведомо. Каковые, напротив того, еще обстраиваются новыми домами и старшины делают заготовки на зиму. Приемлю смелость заметить, что от сего предвижу большое облегчение и прибыль казне, почему таковые работы всемерно поощряю».

Наконец генерал прервал молчание. В последних числах декабря 1811 г. он призвал к себе старшин и об'явил, что по высочайшему повелению крестьяне переводятся на жительство в Крым, каковое переселение должно произойти через три дня. Старшины до того опешили, что даже не сообразили спросить, что сталось с договором, который они заключили с правительством.

— А как же со скотом, с хозяйством, с домашним скрабом? — заговорили они.

Генерал нахмурился и отвернулся.

— Об этом в высочайшей инструкции, данной мне его императорским величеством, ничего не прописано, — отвечал он. — Впрочем, отпущены большие деньги на переход и на первое обзаведение.

Старшины топтались на месте в нерешительности. У иных на глазах показались слезы. И вдруг, словно по команде, упали в ноги генералу.

— Смилуйся, батюшка! Ведь на этой земле сколько годов сидим! Хозяйство отнимут — нищими останемся...

Лаврецкий пыхтел гнутым чубуком и хмурился. Затем резко встал и пошел к дверям, бренча шпорами. «Государь вас не оставит», уронил он, выходя.

2

В морозный январский день крестьян собрали за селом. Всего выселяемых было до 4 тысяч. Мужики, в ожидании, стояли молча, тупо и бессмысленно глядя в землю. Бабы плакали и причитали, как по покойнику. И было отчего. Они уходили разоренные, оставляя позади все, что было накоплено и построено с таким тяжелым трудом. Они шли в неизвестность, на нищету, не надеясь и не веря в царскую помощь.

В охрану им назначены были гарнизонные солдаты. Их окружили, как преступников. После молебна с водосвятием, печальная процессия тронулась в дальний путь.

На третий день ударили жестокие морозы. Переселенцы шли в рваных армяках, в лаптях и онучах. Одни с котомками за плечами, а кто и просто с посохом в руке. Они нещадно мерзли. Было и голодно, ибо провианта нехватало: отпущенные деньги, пока дошли по назначению, поприлипли к чужим рукам. Еще через день, один за другим, померли двое ребят. Плач и причитания возобновились. Армейский поручик, командовавший переходом. распорядился в ближайшей деревне выдать крестьянам по чарке водки.

Переселенцы изнемогали от холода и голода. Под вечер свалился один старик, старшина. Когда над ним наклонились, он уже хрипел. По рядам зашуршал глухой ропот. Раздались голоса: «Не пойдем дальше! Здесь помрем!». Солдаты угрожающе сомкнули штыки. Колонна двинулась дальше.

И уже потом на смерти не обращали внимания. Шли молча вперед, в безысходном отчаянии, тупо и безропотно, как убойный скот. Пока добра-

лись до места назначения, около полутысячи людей осталось лежать в безвестных могилах, на пути.

Таково было первое мероприятие правительства по введению военных поселений.

3

Генерал Лаврецкий приставил надежные караулы к закромам, сараям и амбарам. Обезлюдевшие села и деревни готовы были к встрече новых постояльцев. Они не заставили себя долго ждать.

Через несколько дней после вывода крестьян, с барабанным боем, с песельниками впереди, в место расположения будущего военного поселения вступил сводный батальон Елецкого мушкетерского полка. Батальон сформирован был из отборных людей: молодец к молодцу, рослые, здоровые, в каждом движении которых чувствовалась военная выправка.

Солдаты размещены были по опустелым крестьянским домам. Генерал Лаврецкий предоставил им два дня отдыха. Мушкетерам показалось удобнее спать на полатях и на печке, нежели на казарменных койках, а крестьянский хлеб много вкуснее, чем прежний, казенной выпечки. Они благодушествовали, но не надолго.

На третий день солдаты были выстроены в густую колонну на выгоне, обращенном в военный плац. Явился генерал в мундире с золотым шитьем и при орденах. Он прочел бумагу, в которой изъяснялись поселенцам их новые обязанности. О правах новых, как-будто, позабыли. А обязанностей оказывалось много. Выходило так, что поселенные мушкетеры должны были совмещать в себе и солдат, и земледельцев.

Мушкетеры приуныли. Полати в избах и точно были хороши, да, видно, не про них срублены. В самом деле, в казарме едва хватало времени на учение, на караульную службу, на смотры, пригонку и чистку аммуниции. А здесь ко всему этому прибавлялись еще полевые работы, хлебопашество, домашнее обзаведение, словом, весь тяжелый крестьянский труд.

По счастью на дворе была зима, т.-е. время вынужденного крестьянского отдыха. Для поселенцев зима затянулась надолго. Европа вступила в последнее единоборство с Наполеоном. Поселенцев присоединили к действующей армии. Вместо полевых работ они отсиживались в сырых и грязных блиндажах; тяжелыми сапогами топтали свою и чужую землю, приносившую кровавые всходы. Храбро бились под Кульмом и под Бородиным, где многие из них и легли в братских могилах. От Смоленска катились за Москву, и потом, на плечах отступающего, разбитого неприятеля, шли к Парижу.

А когда, по окончании войны, уцелевшие вернулись назад, то нашли разграбленные дома и хозяйства, запущенные поля, бурьяном поросшие огороды, пустые хлебные магазины. Все было расхищено соседями. Правительство пришло им на помощь. Мушкетеров еще раз снабдили рабочим скотом, семенами и земледельческими орудиями.

Солдаты с лицами, обожженными пороховым дымом, вяло шли за сохой. За взбороненным полем мерещились им картины недавних битв, в зрачках, казалось, еще отражались огни бивуачных костров. С детских лет оторванные от крестьянского труда, они оказались дурными земледельцами. Сам Аракчеев вынужден был сознаться,

что первый опыт не удался. Поселенных мушкетеров вернули в полк.

Это был тяжелый удар для императора Александра. Последняя надежда, мечта, успевшая уже стать любимой, теперь, казалось, рушилась. В самый тот день, когда горе-поселенцы возвратились в расположение Елецкого полка, 10-го августа 1814 года, государь подписал манифест.

«Мы надеемся, что сохранение мира и спокойствия даст нам возможность не только устроить содержание солдат лучше и с большим достатком, но и сделать их оседлыми и соединить с ними их семьи».

От идеи военных поселений правительство не отказывалось. Иначе и быть не могло. Положение дел требовало каких-то решительных перемен.

САМОДЕРЖАВИЕ В ТУПИКЕ

I

Императорская гвардия, возвращавшаяся из заграничного похода, вступала в Петербург. Войска, недавно оставлявшие Москву и расстроенной лавиной катившиеся в глубь об'ятой ужасом страны, теперь возвращались победителями из триумфального шествия по Европе, завершенного капитуляцией Парижа.

У петергофского в'езда выстроены были ворота и на них водружены шесть алебастровых коней, знаменовавших шесть гвардейских полков первой дивизии. Дома Санкт-Петербурга с утра разукрасились трехцветными флагами и царскими вензелями. Балконы и окна усеяны была праздной столичной знатью. По тротуарам теснился толпами простой народ. Невзирая на торжественность мо-

мента, полиция нещадно избивала армяки и чуйки, пытавшиеся приблизиться к войскам, шествовавшим церемониальным маршем.

Первым ступил под триумфальные ворота статный рыжий конь с огненной гривой, несший на своей атласной спине императора Александра, «освободителя Европы».

За ним, тяжело цокая копытами, сплошными колоннами, медленно подвигались кавалерийские эскадроны. Сотрясая землю ровным, размеренным шагом, тянулась гвардейская пехота; громыхали артиллерийские орудия. Над морем киверов и султанов реяли в воздухе императорские знамена и штандарты, из которых многие совсем еще недавно освобождены были от французского плена.

На дымящиеся крупы боевых коней, на кавалергардские колеты, на гусарские доломаны и тяжелые, запыленные в походе кирассы с балконов сыпались цветы, взращенные скупой северной природой. Война была кончена. И царский Петербург приветствовал своих избавителей.

Навстречу войскам медленно подвигалась открытая золоченная карета. Всадник на рыжем коне выдернул шпагу из ножен, готовый опустить ее перед приближающейся императрицей. В это время какой-то мужиченко, должно быть увидевший на той стороне земляка, прорвался сквозь цепь и перебежал через улицу перед самой лошадью царя. Александр побагровел. Он дал шпоры коню и, с обнаженной шпагой, устремился на бегущего. Полиция приняла мужика в палки.

Многие молодые офицеры опустили глаза и отвернулись, стыдясь за своего героя, благоговение перед которым с недавнего времени стало заметно выветриваться. На тротуаре отставной гвар-

дейский офицер, с пустым рукавом, рассказывал на ушко своей спутнице сказку о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако-ж, не могла равнодушно видеть мыши, чтобы не броситься на нее. Девушка поглядывала на взбешенного императора и улыбалась.

Александр ощутил всеобщую неловкость, и еще больше озлился. Скомкав церемониал, он поспешил во дворец. Молча, с опущенной головой, не отвечая на официальные приветствия, прошел он сквозь неподвижный строй дворцовых гренадеров в черных медвежьих шапках, заперся в рабочем кабинете и бросился в деревянное кресло перед письменным столом.

Он устал. Устал не только от походов последних лет, от поражений и побед, от конгрессов и дипломатических торгов. Более всего устал он от лицемерных восторгов и от сознания, что «дней александровых прекрасное начало» на ущербе своем обмануло всех, и его первого.

Утомленный жизнью, давно изверившийся и в себе, и в окружающих его людях, Александр малодушно искал забвения во внешней политике, а убежища в религии. Он все более отдавался во власть различных изуверов и кликуш, отдаляясь от правительственных дел. А у кормил власти, с каждым днем резче и отчетливее, вырастала страшная и серая, как солдатское сукно, фигура военного министра графа Аракчеева.

За его широкой спиной пытался Александр трусливо укрыться от сознания полного крушения всех своих иллюзий. Ропот, еще прежде пугавший его, раздавался все громче. Волновались рабочие на фабриках и мануфактурах. То тут, то там вспыхивали жестокие крестьянские восстания против

остервенелых помещиков, олицетворявших в себе ненавистное крепостное иго. Сами помещики негодовали на правительство за бесконечные рекрутские наборы.

И в то же время шло глухое брожение в войсках. Александр еще не знал, что в это время офицерство уже начинало об'единяться в тайные общества, которые через десять лет привели к революционному взрыву. Однако, он сознавал, он чувствовал, что офицерство это изверилось в нем, что оно прониклось западными идеями и пытается прилагать их к России.

Но императору казался не столь опасным этот ропот молодых либералистов. С «салонными шаркунами» можно бы и разделаться. Несравненно страшнее были недовольство и брожение, постепенно распространявшиеся в солдатских массах.

2

Было так. Победителями шествуя по Франции, солдаты невольно приглядывались к гражданскому быту завоеванной страны. И свои наблюдения примеряли к порядкам далекой родины. Они переставали быть автоматами, слепым орудием чужой воли, все более сознавая, что тот строй, который их душит, на них же и опирается.

В конце 1812 г. император Александр прибыл к своей армии. Он осматривал поредевшие в боях полки и недовольно качал плешивой головой. Штабные вояки, прибывшие с ним, не нюхавшие порохового дыма, с укоризной поглядывали на боевых генералов, не сумевших угодить царю.

— Солдаты утратили выправку. Они не столь уже исполнительны в соблюдении воинского артикула и формы, — выговаривал Александр. —

Сегодня, господа генералы, я только указываю на недостатки, завтра я начну взыскивать за них.

Со следующего дня возобновились учения и смотры. Солдаты, изувеченные в сражениях, измученные тяжелыми переходами, ежечасно рисковавшие жизнью, снова должны были натирать мелом кивера, чинить аммуницию, затягиваться до потери сознания ремнями. «Спасители отечества», они опять вынуждены были вытягиваться в струнку и задерживать дыхание на высочайших смотрах, сносить побои и издевательства особо ретивых командиров.

Тогда-то впервые Александр отчетливо услышал ропот. Началось повальное бегство. Едва в какой-либо части об'являлся приказ о выступлении в Россию, как множество нижних чинов дезертировало в глубь страны. Они бежали к своим хозяевам, у которых работали во время оккупационной стоянки. Они не желали возвращаться на родину, где их ожидали те же палки, то же недоедание, те же бесконечные учения, словом, все то, что обращало царскую казарму в каторжный острог.

Вернувшиеся тоже не смирились. Солдаты еще не успели научиться организованному протесту, им еще чужда была мысль о массовом выступлении. Они протестовали широко распространившимися самоубийствами и дезертирством. Освобождаемые военнопленные оставались во Франции.

И вот, в то время, как с такой очевидностью обозначалась растущая пропасть между правительством и армией, эту армию предстояло еще сильно увеличивать. Ибо роль вершителя судеб Европы, которую принял на себя император Александр, требовала все больших и больших военных сил.

Значит, попрежнему будут расти расходы на армию. Значит, попрежнему будут негодовать помещики на то, что лучшие люди у них отбираются в рекруты. А эти рекруты из голодных, задавленных произволом, восстающих деревень, приходящие в глухо ропщущую армию, будут получать ружья, которые в любой момент могут обратить против Зимнего дворца.

Выход оставался один: создание и развитие военных поселений. Расчет правительства был прост, но, вместе с тем, хитер: не только сократить расходы на армию, переведя часть ее на самоснабжение, не только ублаготворить поместное дворянство сокращением рекрутских наборов. Но еще изолировать военных поселян от жизни, от действительности и постепенно создать из них новую опричнину, верную и слепую защиту престола, который уже заметно начинал пошатываться.

Наученное первым неудачным опытом, правительство теперь пошло иным путем. Оно уже не выселяло крестьян, а и их обращало в военных поселян. Дело велось энергично и спешно. К 1818 г. военные поселения должны были охватить четыре губернии: Новгородскую, Могилевскую, Херсонскую и Харьковскую. Во главе поселений стоял военный министр граф Аракчеев.

3

«...По мере распространения оных военных поселений, вовсе исчезнут рекрутские наборы, тяжелым бременем ложащиеся на крестьянские хозяйства. Землепашец, призванный на службу царю, вместе с тем не оставит своего плуга. Солдаты будут жить в лоне семейств своих, имея всегда

свежую и здоровую пищу и другие удовольствия жизни. Они смогут умножать свою собственность рачительным возделыванием земли и разведением скота»...

Так витийствовало правительство. За трескучей шумихой фраз скрывалась страшная действительность. Не даром солдаты поселенных полков, прошедшие сквозь каторжные годы царской службы, говаривали, что только здесь, отягченные новыми тяжелыми обязанностями, при еще более урезанных правах, узнали они, что значит «всамделишный ад». Не легче приходилось и крестьянину, из которого палками и тесаками в кратчайший срок старались создать бравого солдата.

Каждый шаг, каждое действие военных поселян стеснялись и определялись специальными инструкциями. Женитьба и рождение ребенка, еда и сон, работа и отдых — на все были свои предписания. Поселенцы не могли воспитывать своих детей, отбиравшихся в кантонисты. Они не могли свободно ступить. Над ними постоянно тяготела мертвящая зверская дисциплина. За малейший проступок, за скверное вытягивание во фронт, за не во-время затопленную печь, — на их спины сыпался град ударов.

И за все это правительство хотело откупиться скупыми денежными подачками, разными мелкими льготами да казенной заботливостью о материальном благополучии военных поселян.

НОВГОРОДСКИЕ МЯТЕЖНИКИ

I

В селе Высоцком, в волостной избе было людно и шумно. Старшина, маленький, худой старичок, с острыми чертами лица и хищным взглядом,

из'яснял правила занятия Высоцкой и Холынской волостей, Новгородского уезда, под военные поселения. Крестьяне и прежде слышали о том. Но только теперь поняли, что это не пустые разговоры, не одни предположения. Уже в Петербурге формировался батальон гренадерского графа Аракчеева полка для отправки в Высоцкую волость. Скоро, стало-быть, явятся солдаты и войдут хозяевами в их дома. Их самих, крестьян, оденут в форменные мундиры, обстригут и с барабанным боем станут гонять в поле, на земледельческие работы.

А земля их родит худо. Она болотиста и почти сплошь покрыта старым лесом, грунт и подпочва глинистые, климат — сырой. Изволь тут заниматься хлебопашеством!

Высоцкие крестьяне почти вовсе пренебрегали земледелием. Меньше десятой доли всей земли обработано было под пашню. Спору нет, их угнетала бедность, им, как-будто, и терять было нечего. Но у ног их протекал судоходный Волхов, а неподалеку была богатая столица. Высоцкие крестьяне подкармливались отхожими промыслами. Они занимались извозом и работой на судах, шли в плотники и каменьщики, в кузнецы и столяры.

— Так вот, любезные, — говорил старшина, хитро щуря подслеповатые глаза, — побрезговали мы на своем веку землицей неугодной, покормились на стороне. А теперь царю-батюшке требуется наша служба. Стало-быть, надо за землю приниматься да постояльцев хлебом-солью встречать.

С лавки поднялся здоровенный детина, меньшой сын старшины Степан, и сказал:

— Это никак невозможно. Сам знаешь, батька, что мочи с землей нет. Ее в три года никаким плугом не возьмешь.

Мужики шумно его поддержали. — Верно говорит Степан! Земля наша, язви ее мать, никуды не годится! Не хотим военных поселений!

Старшина зло засмеялся: «Да будто кто нас спрашивает о хотении нашем? Государь-батюшка приказывает, а наше крестьянское дело — повиноваться. Мы сейчас, к примеру сказать, даже сжечь село-то свое не вольны, ибо оно государево да графа Аракчеева.

— Лучше сжечь! — крикнул Степан. «И то верно»! — поддержал еще кто-то. И сразу в избе стало тихо, так тихо, что слышно было тяжелое дыхание старшины, у которого от волнения на лбу проступила испарина. Потом, молча и не глядя друг на друга, стали расходиться.

Уже вечерело. По селу ползли серые тени, и было тихо. Зловещая тишина едва прерывалась мычанием и блеянием редкого скота, который гнали с общественного выгона. Крестьяне, все так же молча, расходились по своим домам, не зажигая огней.

Когда сумерки сгустились, село вдруг, будто по команде, запылало с четырех концов.

2

Через несколько дней, ранним утром 29 августа 1816 года, в Петербурге, в казармах гренадерского графа Аракчеева полка была необычная тревога. Еще в четвертом часу ночи прибыл сам граф. Его сухое и серое, словно из камня высеченное лицо, по обыкновению, было насуплено и невыразительно. Прямыми шагами мерял он полковой двор, наблюдая, как строился батальон, отправляемый в военное поселение.

Впереди батальона, вытянувшись в струнку, стоял немолодой майор Фрикен, из гатчинских

солдат. Прусский авантюрист, он, подобно многим своим соплеменникам, искал под русскими орлами поправления расстроенного состояния и дешевых лавров, в которых отказывала ему родина. Хотя в сражениях он, как говаривали, был чрезвычайно скромен, но зато в мирное время усердно избивал солдат и в совершенстве постиг науку шагистики. А потому довольно успешно стяжал чины и почет. Теперь назначение в военные поселения сулило ему большие выгоды, но и тревожило своей полной новизной. К тому же майор не выспался. Лицо его было помято и желто. Должно быть, выпито накануне, на прощание с товарищами, было изрядно.

За спиной его вытянулись ниспадающие линии черных султанов. Солдаты стояли, не шевелясь и как будто не дыша. Полковой дьякон, ежась от утреннего холодка, спешно устанавливал посреди двора походный аналой. В ризнице невыспавшийся священник оправлял облачение.

Аракчеев морщился. Ему все казалось, что приготовления идут недостаточно быстро. Он был недоволен сизым носом майора Фрикена, был недоволен угрюмыми лицами солдат, плохо ответивших на его приветствие.

На улице, в предутренней тишине спящего города раздался дребезжащий стук колес и замер у ворот казармы. Во двор вбежал измученный, покрытый дорожной пылью фельд'егерь и, отсалютовав, подал военому министру казенный пакет. Аракчеев, не спеша, сломал сургучную печать и развернул бумагу. Бескровное лицо его, казалось, еще побелело, покуда он читал бумагу.

Новгородский губернатор извещал «его сиятельство», что в ночь с 23 на 24-е августа село Высоц-

кое сгорело до последнего дома. «Причин оного доискаться не удалось, но полагать должно, — с канцелярской глубокомысленностью заключал губернатор, — что сие приключилось от неосторожного обращения с огнем».

Аракчеев злобно скомкал бумагу. Начало было скверное. Граф, как добрый христианин, верил в дурные предзнаменования. Он, конечно, догадывался, какого это рода «неосторожность» произошла в селе Высоцком. А кроме того предстояло менять весь план расквартирования поселяемого баталиона. Выступление было отложено. Горнисты заиграли отбой. Священник отправился на боковую.

Но бедному майору Фрикену не довелось отдохнуть. Едва он, распустив солдат, добрался до своей квартиры и велел денщику стелить постель, как прибежал вестовой и доложил, что майора требуют к полковому командиру генералу Княжнину. Фрикен с сожалением оглядел кровать и, находу застегивая портупею, побежал к командиру. За дверью генерала было тихо: видимо еще спали. Майор осторожно дернул колокольчик и прислушался. Никто не откликался. Фрикен позвонил сильнее, но опять безуспешно. Он тихо выругался и громко постучал. Наконец, вылез заспанный генеральский денщик и сказал, что их превосходительство изволили поехать к господину графу и велели майору поспешить туда же.

В военном министерстве, куда, запыхавшись, прибежал Фрикен, не найдя извозчика, встретил его дежурный ад'ютант, молодой мальчик с каким-то громким титулом. Звякнув шпорами, он обратился к Фрикену по-французски. Майор сквозь синеву от бессоницы густо покраснел: он не знал французского языка. Ад'ютант с улыбкой изви-

нился и уже по-русски из'яснил, что граф, вместе с генералом, отбыл в Зимний дворец и велел майору безотлагательно поспешить туда же.

— Карош утро, — ворчал, выходя из министерства, Фрикен. — Скакай ночью, как верховой лошадь! Еще теперь скажут, что государь поехал до господь бог, и меня велят поспешайт туда же.

Но по мере приближения к дворцу игривое настроение майора сменялось какою-то нервозностью. По спине побежали мурашки. За двадцать лет русской службы не мог он избавиться от рабского страха при встрече с государями. С тех самых пор, когда на первом же смотру, в Гатчине, блаженной памяти государь Павел Петрович избил его палашом до потери сознания.

На сей раз Фрикен был избавлен от встречи с государем. Камер-лакей доложил о нем дежурному флигель-ад'ютанту. Тот скрылся за дубовой дверью царского кабинета. Вскоре оттуда вышел генерал Княжин, взволнованный и, несмотря на ранний час, торжественный от близости царя.

— Вот что, любезный друг, — сказал он майору, — не мешкая ни минуты, отправляйся в Высоцкое и на месте выясни причины пожара, а также возможности расквартирования.

— А собрать вещи, ваше превосходительство...

— А орденок получить, господин майор...

Аргумент был убедительный. Заспанный майор поскакал в Новгородскую губернию.

3

Но и там не нашел он покоя. С видом благодушного «отца-командира», Фрикен путешествовал по Высоцкой волости в легонькой коляске, с денщиком на козлах. Майор прохаживался по деревням

и селам, пытаясь вступать в разговоры с крестьянами, глядевшими хмуро и как-то уж очень по-заговорщицки. Обыкновенно они ничего не отвечали на вопросы майора. Самые благодушные отнекивались: «Знать ничего не знаем, господин офицер». А за спиной своей Фрикен слышал недвусмысленные смешки. Иной раз до него долетали и иронические замечания насчет его произношения и расцветки злосчастного носа.

Чувствуя отовсюду глухое недоброжелательство, майор робел.

Отнюдь не будучи человеком проницательным, он все-таки чувствовал, что здесь что-то кроется. Фрикен посылал по начальству мрачные и тревожные рапорты, в которых с особенным вкусом описывал «разбойничьи и заговорщицкие хари» крестьян.

Хорошенько он не знал даже, что ему надлежит предпринять и в чем состоит его миссия. Наконец из Питера пришел ответ. Майору Фрикену предписывалось собирать сельские сходы и из'яснять на них крестьянам благодетельные последствия введения военных поселений. А засим отправиться в Холынскую волость и там проделать то же самое.

Майор стал созывать сходы и «из'яснять». Крестьяне выслушивали его молча, с видимым вниманием. От этой напряженной тишины Фрикену всякий раз становилось страшно. Чувствуя, как по спине его скатывались предательские струйки пота, он тоскливо думал о том, что прислан в это «разбойничье гнездо» без всякой охраны и что он, стало быть, совершенно беззащитен перед лицом разгневанных мужиков.

Выслушав его, крестьяне, все так же молча, не говоря ни слова и не задавая вопросов, расходились. — Майн либер готт, что же такой здесь

будет? — шептал Фракен, весь мокрый, возвращаясь в занятую им избу.

На сходе в селе Черном крестьяне прервали молчание: когда Фрикен кончил, послышались голоса:

— Не будет того! Не допустим поселения! Умрем, а в поселяне не пойдем!

Фрикен покраснел пятнами.

— Молчать! — закричал он не своим голосом. Как вы смейт! Смирнааа!

Крестьяне заволновались и угрожающе двинулись на майора. Он вскрикнул и бросился бежать. Фалдочки его мундира смешно взметнулись. «Гони, Андрюшка!» крикнул он денщику на козлах.

Вечером того же тревожного дня коляска майора катила проселочной дорогой по направлению к Холынской волости. Дорога шла густым старым лесом. Вершины деревьев таинственно шелестели. Где-то невдалеке, по правую руку, глухо шумел Волхов. Майору было очень жутко. Чудились ему какие-то шорохи и шаги человеческие. Он проверил порох на полках в обоих своих пистолетах и один из них отдал денщику.

— Ладно, небось доедем, ваше благородие, — посмеиваясь, заметил тот и засунул пистолет за пояс. От этого спокойного голоса майору стало полегче. Но в следующую минуту сердце его замерло и оборвалось. Посреди дороги выросла огромная фигура, в призрачном лунном освещении казавшаяся еще больше. Лошадь, схваченная за узду могучей рукой, остановилась словно врытая в землю.

— Никак мы попутчики, господин офицер, — сказал незнакомец, — Подвези что-ли? Фрикен хотел говорить, но голоса не оказалось. Крестьянин полез на дрожки и уселся, притиснув Фрикена в угол. Лошадь тронулась.

Ехали молча. Фрикен искоса поглядывал на своего невольного спутника. Ему казалось, что он уже видывал не раз это дерзкое красивое лицо и могучую фигуру. Не этот-ли мужик возмутил чернских крестьян?

Проехав версты две, крестьянин обратился к денщику, сосредоточенно правившему лошадью.

— Не ссадить ли барина? Коню-то троих тяжело возить.

— А по мне что, — отвечал денщик, усмехаясь так же благодушно, как давеча. — Я, чай, тоже ваш брат, крестьянин. Послужил ужо господам...

— Слезай, господин офицер, — подтолкнул майора в бок мужик.— Покуражился над нами, и будет. И пешком дойдешь. Вот тебе хлебца на дорожку.

Не успел Фрикен опомниться, как он уже очутился на дороге один, а коляска утонула в темноте Он несколько времени постоял, растерянный и дрожащий. Затем сел на пень. И вдруг заплакал злыми, редкими слезами, сжимая между дрожащих колен краюху хлеба.

4

Под утро Степан Осипов на офицерских дрожках приехал в село Холынское. Стараясь не попадаться на глаза сельским властям, он прошел к свояку Никону Степанову, мужику серьезному и многосемейному. Долгое время Никон исполнял должность старшины, знал грамоте и был свыше всякой меры уважаем всеми односельчанами.

Степан подробно рассказал ему о последних событиях в Высоцкой волости, Никон слушал напряженно, вперив в собеседника умные, глубоко посаженные глаза.

— И вот, — говорил Степан, — миром порешили мы не даваться в военные поселяне. Станем у своих домов, с женами да с ребятами, и ни с места. Пущай силком принуждают. Умрем, а не попустим.

— Знаю, наслыханы мы о том,— неодобрительно протянул Степанов. — Был слух у нас, что вы там село пожгли да бунтовать вздумали. И у нас горячие головы о том же твердят. Молодо — зелено! Да все это зря только. Небось, против пушков-то с цепами да с граблями не пойдешь? Чего-ж на рожон переться?

— Как же быть-то, Никон Степанович?

— А поселений и точно допускать не должно,— повелительным голосом изрекал Степанов. — Вот мы, которые постарше да поумнее, надумали послать в Петербург выборных, просить государыню-матушку заступиться за нас.

Осипов зло усмехнулся. «Видели мы уже ихние царские милости. Она тебе так заступится, что год спину почесывать будешь».

— Брешешь, — упрямо возражал Никон, — цари — они от бога дадены. К ним за всякой нуждой обращаться надо. А поселения военные — это от злыдня Аракчеева. Государи всенепременно защитят от него хрещеный мир.

— Брось, отец, побасенки! В твои-ли годы ими заниматься? — с'язвил Степан, берясь за шапку.

И они расстались, недовольные друг другом. Степан Осипов весь день еще ходил по селу, потихоньку говоря с молодыми крестьянами. А когда стемнело, вышел за околицу, где дожидался его уже денщик Андрюшка с дрожками, и отправился в соседнее село.

Оскорбленный майор Фрикен на крестьянской телеге добрался до Новгорода. Приведя в порядок

свой расстроенный туалет, он поспешил к гражданскому губернатору. Тот, узнав о происходящем, развел руками. Какую помощь может он оказать майору, ежели кроме инвалидной роты в городе никакого иного гарнизона сейчас нет? И вообще дело это до гражданской части не касается.

Губернатор был глубоко оскорблен тем, что значительная часть губернии внезапно изымалась из ведения гражданской власти. Он и вообще не одобрял это необыкновенное нововведение и рад был возможности умыть руки. А Фрикену в этот момент хотелось быть возможно дальше от военных поселений. Он отписал в Петербург Аракчееву обо всех последних происшествиях, стараясь выставить свое положение в возможно более трагическом виде.

В Высоцкую волость выступил сам генерал Княжнин во главе двух кавалерийских эскадронов и конно-артиллерийской роты. В виду села Черного орудия сняли с передков. Кавалеристы окружили село густой цепью. Генерал, в сопровождении нескольких всадников, в'ехал в село. Крестьяне молча стояли у своих домов.

— Что тут у вас приключилось? — крикнул Княжнин. — Царскую волю исполнять не хотите? Государь вам добра желает, а вы бунтовать вздумали?

— Не хотим военного поселения, и не быть ему. На том и порешили, — раздался одинокий решительный голос, и опять все смолкло.

Генерал попробовал подействовать на бунтовщиков убеждением. Доказывал благодетельные последствия нового порядка. Об'яснял, сколько крестьяне выиграют от него. А те молчали. Этот молчаливый бунт раздражал и сбивал с толку Княжнина. Голос его стал срываться. Он уже не знал,

что говорить. И, привстав на стременах, махнул в воздухе белым платком.

Снова — тишина. И затем где-то, совсем близко, тяжело ухнул орудийный выстрел. На минуту все заволоклось дымом. Крестьяне закрестились. Прицел был взят нарочно вверх; снаряд разорвался где-то за селом.

— Все снесу! Щепы не оставлю! Всех перестреляю! — орал генерал. — Будете исполнять царскую волю?

Крестьяне молчали. Генерал вздыбил коня и поскакал к орудиям.

— Первое орудие, пли!—закричал он пронзительным голосом. Мелкокалиберный снаряд ударил в толпу. Раздались крики, стоны, проклятья.

— Так их, так! — надрывался генерал. — Будете исполнять царскую волю?

По его знаку кавалерия устремилась на безоружных крестьян, полосуя их шашками и гоня перед собою.

— Так их! — кричал Княжнин. — Руби! Коли! Наддай им! Еще, еще!.. Будете вперед исполнять царскую волю?

— Будем... раздались голоса из смятой, израненной толпы.

«ЦАРСКИЕ МИЛОСТИ»

1

Тем временем, как в Высоцкой волости бравый генерал Княжнин посредством пушек вводил «государевы милости», в Холынской волости, видимо, готовилось то же самое сопротивление.

Земский весьма торжественно прочел на крестьянском сходе «приказания» графа Аракчеева о ми-

лостях и льготах, дарованных жителям Холынской волости. Едва он успел кончить чтение, как поднялся невообразимый крик и шум. Одни кричали, что будут силою сопротивляться введению поселений, другие, что надо просить государыню спасти их от Аракчеева.

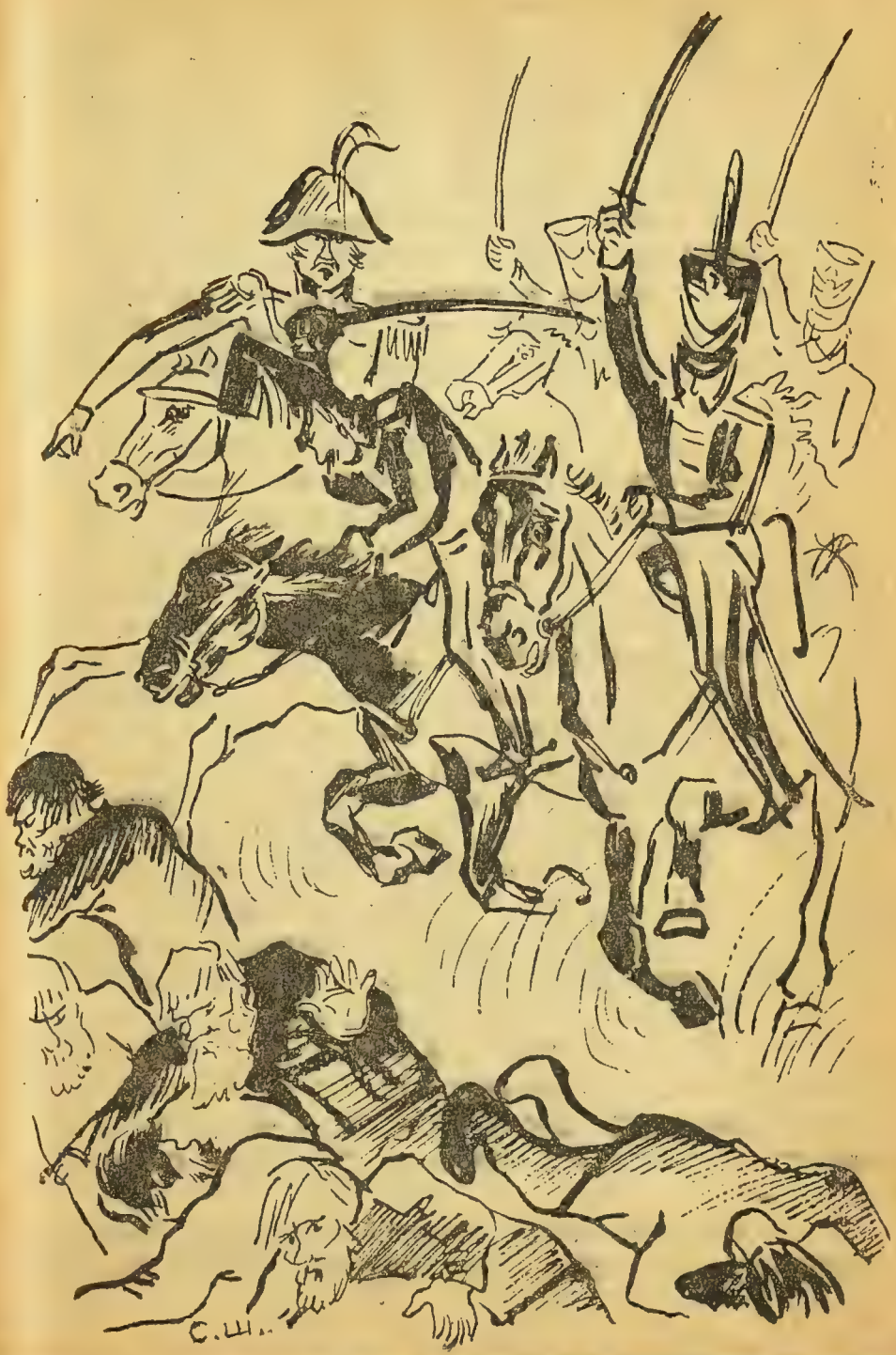
Сквозь нестройный гул голосов земский уловил одно только: именно, что крестьяне мирно не перейдут в военные поселения. Послав стражника за холынским головой, земский еще долго пытался уговаривать крестьян. Правда, без надежды успокоить их, а для того больше, чтобы оттянуть время до прибытия головы.

Может быть, и даже вероятно, холынский голова слышал уже о «блистательной победе» Княжнина. И славные лавры генерала, видимо, не давали ему покоя. Узнав о происходящем на сходбище, он, в сопровождении нескольких стражников, примчался в непокорное селение. «Чего вы тут задумали? крикнул голова начальническим голосом. В ответ раздался дружный смех. Голова был роста очень малого, в ширину же размеров необ'ятных, и казалось, будто он не идет, а катится.

Оскорбленный насмешкой, он пытался было повторить маневр генерала Княжнина, позабыв, что у него нет ни пушек, ни кавалерии. Но из толпы раздался чей-то голос: «А ну, жми масло, братцы!» И в миг голова скрылся под грудой барахтающихся тел.

Так ему и не удалось стяжать победных лавров. Сильно помятый и избитый, он поспешил к исправнику, который послал донесение губернатору.

На усмирение двинулся 2-й батальон Перновского полка, предназначенный к поселению в Холынской волости. Батальонный командир прискакал вперед и, вместе с исправником, еще пытался ус-


С. Ш.

покоить крестьян, говоря, что уже посланы солдаты, и ежели они станут упорствовать, то с ними поступлено будет, как с высоцкими.

— Не хотим военного поселения, — твердо отвечали крестьяне. — Пущай все по-старому остается. Не дадимся Аракчееву в лапы.

Никон Степанов поспешил домой. В избе у него уже собралось человек пятнадцать старейших и почтенных сельчан. В красном углу, под образами, сидел писарь новгородского внутреннего батальона Филипп Махалов, только что прибывший из города.

Торный путь прошел этот писарь Филипп Махалов, покуда достиг настоящего своего звания. Отец его был дворовым человеком одного екатерининского вельможи. Барину приглянулась жена слуги. Он взял ее к себе в дом, а мужу в возмещение распорядился выдать вольную. Михалов старший, всю жизнь проведший на дворне, только и знавший, что ваксить барские сапоги да набивать ему трубку, получив внезапно свободу, так и не знал, куда деться с нею: барин забыл обеспечить чем нибудь жизнь своего вольноотпущенного раба. Махалов покрутился несколько времени по свету без куска хлеба и без пристанища да и повесился на дереве перед окнами барской опочивальни.

Жена его, уже развращенная господской лаской, довольно равнодушно поглядела на посиневшее тело своего супруга с высунутым языком, когда его снимали с дерева. Но у нее был сын Филиппка, двенадцатилетний сорванец, не по летам развитый и имевший свой взгляд на вещи. Смерть отца потрясла Филиппа. Он, кажется, сразу вырос еще лет на десять.

Хотя Филипп воспитывался на дворне, близость мальчика все-таки тяготила строптивого барина.

И вот «в уважение к способностям, оному возрасту и сословию вообще не свойственным», года через полтора Филипп определен был в семинарию. Может быть, со временем из него и вышел бы изрядный дьячек, если бы не его резкий, нетерпимый нрав. Он никак не мог поверить в закономерность такого порядка, который одним людям предоставлял безраздельное господство над другими.

За каждый щелчок, за каждую насмешку над его прошлым он мстил обидчику в меру сил своих. Его пороли просто, пороли на воздусях, пороли размоченными в рассоле розгами, но ничего не помогало. Мальчик попрежнему ожесточенно боролся за сохранение собственного достоинства.

В конце концов, через два года его выгнали из семинарии и вернули барину. За это время в господском доме случилась перемена. Мать Филиппа успела прискучить своему господину и теперь доила коров где-то в дальней деревне. Барину поэтому не было охоты возиться с мальчишкой, и он отдал его соседу-помещику взамен на борзую.

Новый хозяин скоро убедился в том, что заключил дурную сделку. Филипп дерзил, не терпел унижения и не боялся угроз. Помещик был на западный лад, «либералистом». Телесных наказаний он не признавал, а потому в ближайший рекрутский набор отдал Филиппа не в зачет в солдаты.

Казарма осталась памятна Махалову, главным образом, тоже розгами, шпицрутенами, мордобоем и карцером. Казалось, ничто не могло сломить его непокорный нрав. Как все штрафные солдаты, он был обречен на бессрочную службу. Военные походы и долгое пребывание за границей еще укрепили в нем сознание несправедливости существующего строя. Он жестоко ненавидел господству-

ющий порядок и осторожно, под рукой, внушал свои мысли товарищам.

Виски у Махалова уже заметно серебрились, когда он, контуженный, возвратился с полком в Россию. Контузия оставила ему в наследие нервный тик, делавший для него невозможным оставление во фронте. Вспомнив, что Махалов имеет медаль за Бородино и хорошо знает грамоте, начальство определило его «на покой» писарем в Новгородские военные поселения.

Таково было прошлое человека, которого Никон Степанов пригласил в советники.

2

Поглаживая седеющую бороду и глядя перед собой немигающими глазами, Степанов говорил голосом, привыкшим повелевать:

— Это все графа Аракчеева затеи. Ему наше разорение надобно. Государь-батюшка не попустит нас до беды. Он отец наш, а мы его дети. Только ему про эти военные поселения, думать надо, ничего неведомо. Коль скоро узнает он о том, так и выйдет отмена поселениям.

Степенные, зажиточные мужики одобрительно гудели. Весело было поверить в то, что все происходит от царского неведения, и что как скоро царь узнает про их беду, так и спасет их из лап Аракчеева.

— А тебя, Филипп, — продолжал Никон, — просим мы написать государю просьбу, и тогда с нею пошлем людей в Петербург.

Махалов усмехнулся. У него, верно, было иное представление о «государе-батюшке».

— Ужели спин своих вам не жалко? — резко сказал он. — Батагов что-ли захотели? Покажет вам царь просьбу!

Но крестьяне упорно стояли на своем. «Царь, он от бога, он не даст хрещеного народа в обиду Аракчееву! Найдем у него защиту! Все будет опять по-старому!».

— Будь по вашему, — нехотя сказал Махалов.— Напишу просьбу.

Когда он вышел из избы, было уже темно. Село спало либо замерло в страхе перед надвигающейся грозой. Даже собаки приутихли, точно и их обуял проклятый рабский страх. Махалов угрюмо огляделся по сторонам. Покосившиеся избы, полуразрушенные амбары и сараи, — словом, знакомая картина. Его возмущала эта тупая покорность и дурацкая вера стариков в «царя-батюшку». Знает он этого «царя-батюшку»! Да и он ли один? В армии — брожение; на фабриках и мануфактурах, на уральских заводах — бунтуют рабочие. Казаки неспокойны. Даже крестьяне то тут, то там восстают против крепостного произвола. А вот здесь — «царь-батюшка», и изволь писать просьбу, за которую, конечно, посадят в яму. Он громко выругался.

Из-за соседнего плетня вынырнула длинная фигура. «Это я, Степан Осипов», — услышал он знакомый голос. «Есть разговор до тебя. Вот полезай сюда, здесь пустая рига, никто не услышит».

— Неужто и ты с ними заодно? — лихорадочно говорил Степан. — Подать просьбу да и лезть на убой, как баранам? Почто-ж нам руки и силы даны, ежели мы сами себя защитить не можем!

У Махалова загорелись глаза. — Твоя правда, — воскликнул он, крепко сжимая руку Осипова. — Только здесь ничего не выйдет. Крестьяне больнс привержены Никону, а тот ни на какое буйство не пойдет.

— Да в других-то деревнях не то, — перебил его Степан. — Я всюду ходил, слушал, что мужики говорят. Филипп, нельзя же так! Ведь ежели и тут мы покоримся, то и точно за людей нас могут не считать.

3

Через несколько дней в Петербург пришли четыре холынских депутата. Измученные дальней дорогой, серьезные и сосредоточенные, молча шествовали они по шумным улицам, возглавляемые Никоном Степановым. На Сенной площади они вздумали прикупить провизии. Тут-то аракчеевские агенты и заприметили их. Когда ходоки приценивались к какой-то снеди, подошли к ним люди в партикулярном платье и любезно осведомились, за каким делом пожаловали они в город.

— За своей нуждой, — степенно отвечал Никон.

Партикулярные полюбопытствовали, куда мужички путь держат, и, узнав, что мужички ищут постоялый двор, любезно предложили проводить.

— А вы кто-ж такие будете? — подозрительно спросил Никон.

— Добрые люди, — туманно об'яснили партикулярные, подталкивая мужиков в спину. Делать было нечего — пришлось отдаться на их попечение.

Вместо постоялого двора, их привели прямо во дворец Аракчеева. Мужики увидели, что дело неладно, но агенты уже перестали любезничать, и крепко держали их за руки. Ходоков провели в прихожую. Граф был дома. Он вышел и, испытующе поглядев на крестьян, осведомился, зачем пришли.

— За своей нуждой, — упрямо повторил Никон.

По приказанию Аракчеева их обыскали. У Степанова за пазухой нашли просьбу о «защите хрещеного народа от Аракчеева».

Их отвели в арсенал и там посадили в какой-то подвал на заднем дворе. «Дабы жаркие майские дни не могли действовать на их здоровье и солнечными лучами не расслабили их нервы», острили аракчеевские приспешники.

От вредного действия солнечных лучей Никон с товарищами и точно оказались избавлены. В подвале было темно и сыро, вода капала с потолка и текла со стен. Может быт, сердобольный граф опасался также повредить их пищеварению, ибо узников почти вовсе не кормили.

Степанов крепился. Лицо его осунулось, но не потеряло своей солидности и самоуверенного выражения. Чувствуя щемящую тошноту от голода, он старался держаться еще прямее, и своим властным голосом внушал товарищам:

— Это еще не беда. Государь-батюшка, как узнает, так и велит нас выпустить. Выслушает нас, и по нашему сделает.

Но те уже плохо верили ему и стыдливо отворачивали глаза. Недели через полторы, как-то утром, внезапно широко распахнулась дверь, и в полосе хлынувшего света узники увидели своих земляков. Новоприбывших толкнули в подвал, и дверь снова захлопнулась.

Те и другие были равно растеряны. Среди новичков был Карп Осипов.

— Просьбу что-ли тоже подавали? — неуверенно спросил его Никон, чувствуя на себе неприязненные, враждебные взгляды.

— Довольно, набаловали, — зло ответил Карп.— Твоим радением очутился здесь. Оказалось, что

к ним прибыли посланцы от Аракчеева, отыскали «зачинщиков» просьбы и свезли их в Петербург.

— Добро научил нас Никон у царя защиты искать, — заключил Карп Осипов. — Вот теперь и отведаем царских милостей.

— Уже мы отведали, — добавили товарищи Никона, скрипя зубами. На их расспросы о том, что делается в волости, новоприбывшие рассказали, что еще прежде появления аракчеевских агентов послали они депутатов в Москву, куда отправлялась царская семья, и даже в Варшаву, к цесаревичу Константину. «Должно быть, нонче тоже по ямам сидят». А молодежь шумит, волнуется и, побуждаемая Степаном Осиповым и Махаловым, силой собирается не допускать поселений.

— Так-то оно сподручнее с колом да с дубиной, чем самим в яму лезть, — переговаривались депутаты.

Впрочем, государь оказался «милостив». Через месяц император Александр «высочайше помиловал мятежников», и их отпустили домой, с отеческим наставлением всегда и во всем повиноваться начальству.

И даже дали по каравaю солдатского хлеба на дорогу.

4

Вскоре после того великий князь Николай Павлович, недавно повенчанный с прусской принцессой Шарлоттой, при крещении принявшей имя Александры Федоровны, вместе с супругой отбыл в Москву. Молодую чету сопровождал брат великой княгини принц Вильгельм и несколько прусских генералов, смешавшихся в придворных каретах с великокняжеской свитой.

Торжественный кортеж подвигался крайне медленно по причине беременности великой княгини. От Петербурга до Москвы ехали двенадцать дней. Прусские генералы, сперва с любопытством созерцавшие новые места и с официальной вежливостью любезничавшие с русскими фрейлинами, вскоре заскучали. Однообразная природа и нищие деревни наводили тоску, а тесная близость придворных дам имела свои отрицательные стороны: петербургские красавицы издавали весьма неприятный запах. Русский двор отнюдь не грешил чрезмерной чистоплотностью.

Но тоскующим пруссакам готовилось неожиданное и любопытное зрелище. На пути из Новгорода в Крестцы внезапно из леса вышла толпа в несколько сот крестьян и загородила дорогу. Экипажи остановились. Тонкое, словно выточенное лицо Николая покрылось алебастровой бледностью. Он заподозрил у крестьян недобрые намерения. Но те были настроены совершенно миролюбиво. В толпе были женщины и девки. Это последнее обстоятельство несколько успокоило великого князя. Он решился выйти из экипажа и обратился к крестьянам с расспросами. Толпа бросилась на колени и стала изливать свои жалобы на военные поселения. Они просили о пощаде, добавляя, что готовы пожертвовать всем своим достоянием, только бы их оставили в покое.

Теперь великому князю довелось густо покраснеть. Принц Вильгельм из кареты с нескрываемым любопытством наблюдал эту сцену, которая едва ли могла вызвать в нем особенно выгодное представление о благополучии русского народа. Из задних экипажей вылезали прусские генералы и спешили к месту происшествия. Неожиданный спекталь заметно развлекал их, вызывая на их казар-

менных плоских лицах ехидные усмешки, прятавшиеся в прямых, нафабренных усах.

«Можете судить, сколь поразила всех подобная встреча, — записал в тот же вечер в свой дневник один свитский генерал, несмотря на «верноподданность», не вовсе утративший здравомыслие. — Они все бросаются на колени, плачут, криком своим просят, дабы их пощадили. Женщины и девки пели primo в сей мелодии; но великий князь отделался словами и продолжал дорогу. Прекрасный разительный пример пруссакам о нашем домашнем благоденствии, улучшении, счастии и пресчастии».

Такая же встреча ожидала на пути в Москву вдовствующую императрицу. Но, не стесняемая присутствием иностранных гостей, императрица не пожелала слушать крестьян. Следуя ее приказанию, форейторы ударили по лошадям, и царские экипажи врезались в коленопреклоненную толпу. Множество людей было подавлено и зашиблено. К мольбам и слезам присоединились стоны и крики. А государыня-императрица была уже далеко, скрытая в облаке дорожной пыли.

Они еще должны были быть благодарны своим милостивым повелителям, эти крестьяне, покалеченные колесами царских экипажей. Ведь они отдышались, оправились и все-таки возвратились в свои деревни. Много горше сложилась судьба их товарищей, отправившихся в Варшаву искать милостей у Константина Павловича.

Цесаревич Константин был строптивым и жестоким человеком. Не приходись он братом императору, цесаревич, конечно, давно уже с бритым лбом возил бы тачку где-нибудь в Горном Зерентуе. Ибо на совести его были и кражи, и изнасилования, и убийства. При всей моральной нетребовательности царской семьи, Александр I созна-

вал недопустимость того, чтобы этот уголовный преступник вступил когда-нибудь на престол. В свою очередь Константин, как казалось, охотно готов был отказаться от своих прав на престолонаследие. Он был трус по природе, и насильственная смерть отца поселила в нем неизгладимый ужас. Константину мерещилось, что и его непременно задушат, едва он вступит на престол.

Удобнее было для всех, чтобы цесаревич сидел в далекой Польше, где высокое положение, занимаемое им, очень напоминало почетную ссылку. Дурной вояка, он чувствовал непреодолимое влечение к внешней, показной стороне военщины. Плац-парады, фрунт, вытягивание носков обратились у него в манию. При всем том, подобно отцу и деду, был он необыкновенным самодуром и, как все такие люди, не чужд временами добрых порывов.

Вот из этого и выросла легенда о том, что грозный великий князь за время отсутствия вовсе переменился, стал добр и мягок к народу, особливо простому, только и мечтая о благополучии его. Об этом-то и говорили холынские мужички, в холодный осенний день шедшие по окраине Пражского предместья. Сквозь редкую сетку унылого дождя с любопытством рассматривали они нерусские улицы и дома. Еще только что рассветало. Прохожих вовсе не было. Но на безлюдной площади подле Гороховского в'езда их остановили несколько военных. Мужички об'яснили, что идут к цесаревичу по самонужнейшему делу. Военные пошептались между собой и повели их с собою.

Было начало 7-го, когда они пришли в Брюлевский дворец, зимнюю резеденцию великого князя, где цесаревич всегда поутру принимал рапорты от полков, наряды в караул и разного рода донесения. Среди расшитых золотом и позументом

генералов, среди пудреных, перетянутых разноцветными лентами вельмож, ожидавших представления цесаревичу, холынцы с изумлением увидели простых солдат — дневных ординарцев, вахмистров и рекрутов.

— Стало быть, не зря говорят, что простой народ любит, — зашептались мужички.

В это время двери распахнулись, и сопровождаемый адьютантом стремительно вошел цесаревич, лысый, курносый, замечательно походивший на большую, неуклюжую обезьяну. Окинув близорукими глазами присутствующих, он прямо направился к холынцам. Шел он, сутулясь и несколько наклонив голову вперед, будто собираясь бодаться.

На его расспросы мужики бессвязно заговорили все вместе, спеша изложить свои жалобы на военные поселения и графа Аракчеева. Им и точно надо было поспешить. При первых же словах их цесаревич, словно ужаленный, отпрянул назад.

— Молчать! — закричал он. — Не сметь говорить более! Ваше дело не рассуждать, а исполнять свято, что приказывают!

Мужики опешили и, низко кланяясь, стали пятиться к дверям.

— Стой! — орал цесаревич. — Пусть граф Алексей Андреевич сам и разберет ваши жалобы. Я научу вас жаловаться и кляузничать!

Обратно холынцы не плелись пешком, а тряслись в фельд'егерской тележке, в сопровождении нарочного фельд'егеря и двух казаков. Они бы, впрочем, и не могли итти пешком, ибо на ноги им набили колодки. Мужиков доставили в аракчеевский дворец, где недавно уже побывали их земляки. А дальше след холынцев затерялся. Куда они делись, так и осталось неизвестным, только домой они не воротились.

ПОСЛЕДНЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

I

На этом крестьяне заселяемых волостей исчерпали «царские милости». Слово оставалось за молодежью. Степан Осипов и Махалов сделали свое дело. На мирской сходке в селе Естьянах крестьяне единодушно порешили стоять на своем и в случае возвращения к ним солдат отбиваться топорами, кольями, словом, кто во что горазд.

Солдаты не заставили себя долго ждать. Едва пришла весть о прибытии перновцев в соседство Естьян, навстречу им повалили густые толпы крестьян, воруженных чем попало. Майор, предводительствовавший батальоном, не ожидавший сопротивления, потерялся вовсе. Старый строевой офицер, лихой рубака, он привык слепо исполнять приказания, но не приученный к собственной инициативе он, должно быть, вспомнил недавние битвы с неприятелем. Скомандовал батальону взять на-руку и по всем правилам тактики и стратегии повел его в атаку на толпу.

— Вперед, ребята! — крикнул Осипов, но майор, сразу же заприметивший зачинщика, устремился на него, и Осипов свалился под тяжелым ударом палаша по голове.

Против густой щетины штыков не устоять было с кольями и камнями. Крестьяне устремились в ворота ближайшего двора и там заперлись, оставив несколько десятков раненых и убитых. Майор послал гонца к генералу Княжнину с донесением о встреченном им сопротивлении. Тем временем, став перед закрытыми воротами, он стал уговаривать мятежников разойтись по домам. Ему отвечали градом камней. Майор стушевался, приказав ба-

тальону располагаться на бивуаки. Солдаты составили ружья в пирамиды и разложили костры.

На утро, ни свет, ни заря, прискакал Княжнин, однажды уже венчанный лаврами за славную победу над безоружными крестьянами. Без приказания Аракчеева он не решался действовать силою, а потому нарядил вокруг осажденных крестьян крепкие караулы и уехал. Перед от'ездом он еще, конечно, попытался держать речь к крестьянам, доказывая безумие их затеи. Но из-за ворот снова посыпались камни, и один из них сбил плюмаж с генеральской треуголки. Генерал обиделся и ускакал в Бронницы. А оттуда запросил Аракчеева о том, как ему поступить. Аракчеев с нарочным отвечал, что ежели через двенадцать дней мужики добровольно не сдадутся, взять двор вооруженной силой.

А осажденные попрежнему на попытки солдат взломать ворота отвечали всякий раз градом камней. Но беда заключалась в том, что кроме камней-то ничего у них не оставалось. Скудные запасы хлеба, которые они успели захватить с собой, иссякли уже на третий день. Начался жестокий, мучительный голод, самый страшный враг всех осажденных. Филипп Махалов, худой, обросший, с ввалившимися щеками, ободрял крестьян. Призывая их к терпению, он внушал им, что лучше пострадать несколько дней теперь, нежели потом всю жизнь терпеть военные поселения.

— Придут крестьяне из соседних сел и деревень да ударят сзади на перновцев. Вот тогда и посмотрим, чья возьмет! Да и солдаты, нешто они враги нам? Ведь поймут же, в кого их стрелять заставляют. Вот ежели бы как-нибудь потолковать с солдатами!..

Осажденные терпели, мужественно перенося пытку голода. Страдания их еще усугублялись вкусным запахом щей и каши, который в обеденный час доносился к ним с той стороны. На пятый день более слабые начали сдавать. Они лежали, как мертвые, не имея уже сил пошевелить ни языком, ни рукою. Иные так и не поднялись: призрачный сон нечувствительно и незаметно переходил в смерть.

А помощь не являлась. Генерал Княжнин непроходимыми кордонами отрезал мятежное село от всего мира. Осажденные стали есть падаль и всякую дрянь — кору, какие-то корешки, которые выкапывали из земли. К вечеру у некоторых начались жестокие боли. Несчастные корчились в нечеловеческих страданиях. На другой день многие из них поумирали.

Махалов с ужасом смотрел на эту картину величайшего бедствия. Сам ослабевший, едва передвигавший ноги, он появлялся повсюду, стараясь ласковым словом ободрить несчастных. Он уже понимал, что помощь не придет, не может притти. Вся надежда его была на солдат. «Если бы потолковать с солдатами...». Эта мысль днем и ночью терзала его воспаленный мозг. «Неужто они не поймут, в кого и за что их заставляют стрелять?».

В полночь, с трудом волоча ноги, Махалов осторожно взобрался на стену и огляделся. На сторожевых постах светились огни костров. Караульный офицер стоял спиной, прислонясь к дереву, и, должно быть, дремал. Махалов перекинул ноги и стал спускаться. Его тошнило, голова кружилась. Он чувствовал, что сейчас потеряет сознание и что последняя надежда рушится.

— Стой! — услышал он пронзительный голос офицера и сорвался.

Это было в ночь на девятый день. Под утро Махалова с надежным конвоем отправили в Бронницы к генералу Княжнину. Генерал не знал, что ему делать с мятежным писарем, который на все вопросы отвечал дерзостями. Пока суть да дело, Княжнин распорядился зачислить Махалова рядовым в Перновский полк.

В тот же день мятежники сдались.

Наряжен был суд под председательством графа Аракчеева. Тридцать девять главнейших виновников посажены были под арест на хлеб и воду. Сюда попали не только естьянские бунтари, но и многие депутаты. Арестанты разделены были на три разряда, по степени виновности. «В первый разряд, — доносили судьи государю, — помещены пять преступников, самых беспокойных, оказавших во время происшествия более грубости». Они отсылались на службу в Сибирский отдельный корпус. Шестеро определялись на временную службу вне округа поселения. Остальные 28 человек, коим вменялось в наказание содержание их под арестом, определены на службу в округе поселения, независимо от их лет и здоровья.

«В числе сих последних, — гласило донесение, — находятся два человека, а именно: Карп Осипов и Никон Степанов, коих, хотя и следовало бы отослать также на временную службу, но мы, уважая, что у первого отсылается сын в Сибирский отдельный корпус, а у второго находится большое семейство, поместили в последний разряд».

Оставался еще мятежный писарь Филипп Махалов. Его суд полагал прогнать в округе поселения, при собрании жителей оного, сквозь комплектный вооруженный батальон три раза и по выздоровлении отослать на службу в Сибирский корпус рядовым.

На этом докладе император Александр 27 марта 1818 года написал: «Быть по сему». Через несколько дней Махалов умер под палками.

2

Впрочем, правительство не оставалось совершенно глухо к просьбам военных поселян. Оно отвечало усилением постоев, увеличением работ и повинностей. Собственно, «царские милости» выразились в том, что трем бабам были «высочайше пожалованы» кокошники.

Поселяне смирились. В конце того же года Аракчеев мог торжествовать полную победу. В декабре, возвратившись в Санкт-Петербург из очередной поездки в округ Новгородских военных поселений, граф ехал с докладом в Зимний дворец. На улицах, в витринах магазинов, эстампов и книжных лавок пестрели художественно исполненные литографии того, кому лицемерные льстецы происвоили имя «Александра Благословенного». С портретов улыбалось молодое, красивое лицо государя с зачесанными височками, венчавшее стройную, изящную фигуру, затянутую в черный преображенский мундир.

Оригинал успел уже сильно потускнеть. Александр был плешив и заметно сутулился, становясь все более похожим на брата Константина. Он плохо слышал. «Глухая тетеря», — звали его петербургские либералисты.

При появлении Аракчеева Александр тяжело поднялся из-за письменного стола.

— Ваше величество, — докладывал Аракчеев, — благословением божиим все идет так хорошо, что я каждый раз по приезде туда нахожу особенное удовольствие быть в сих местах поселения.

Александр одобрительно опустил голову.

— Утешаю себя мыслию, — продолжал граф, — что по милости божией доношу все, кажется, приятное сердцу вашего величества.

Государь помолчал. Может быть, он вспомнил недавние страшные кровопролитные сцены, неизбежность которых в будущем не трудно было предугадать. Он сказал, глядя в упор в глаза Аракчееву:

— Военные поселения будут существовать, хотя бы мне пришлось для этого уложить человеческими трупами всю дорогу от Новгорода до Петербурга.

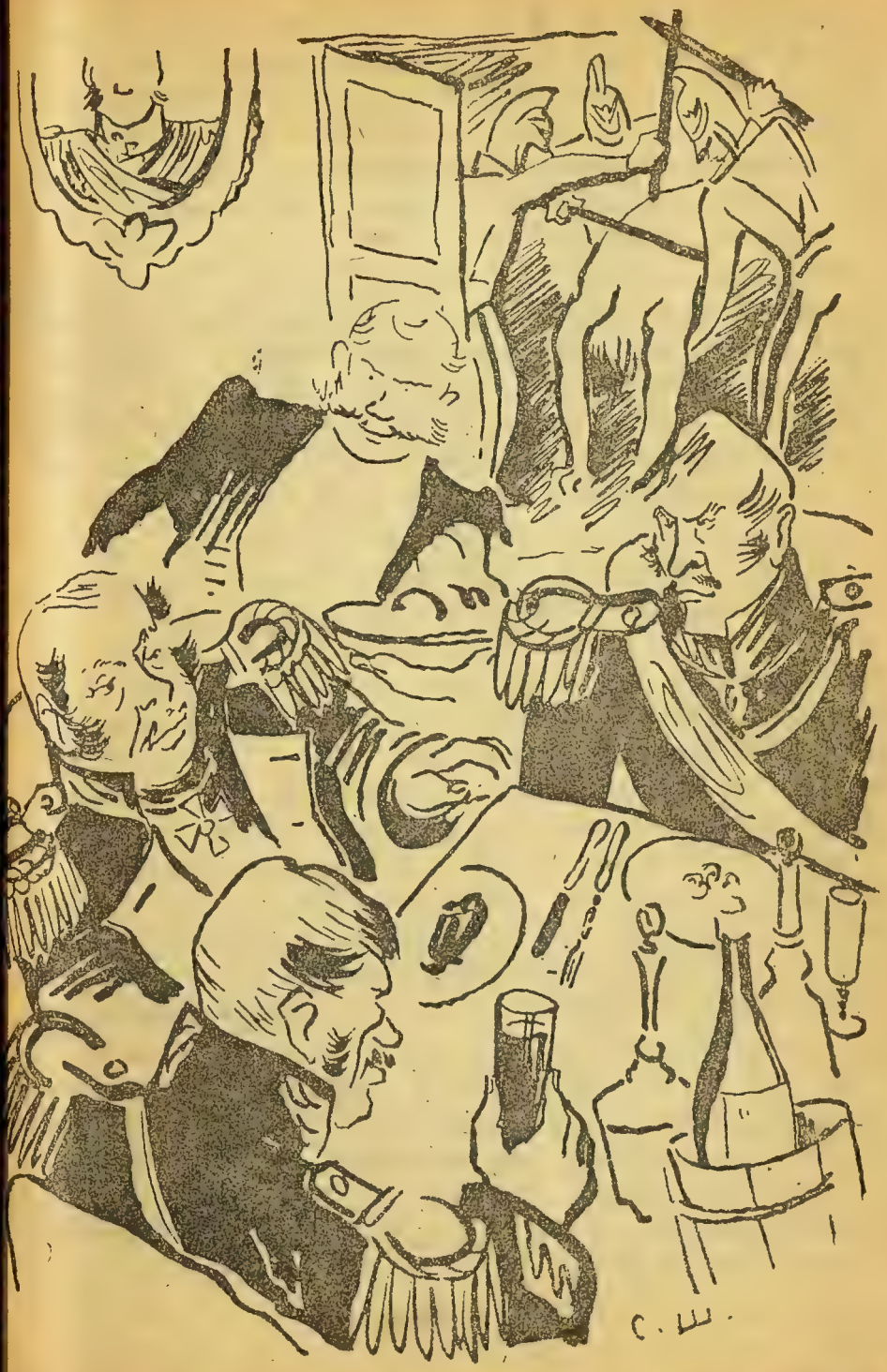
КОМИТЕТ ПО ВОЕННЫМ ПОСЕЛЕНИЯМ

1

Императору Александру Благословенному не довелось декорировать трупами своих верноподданных дорогу от Петербурга до Новгорода. Новгородские поселяне усмирились прежде, нежели государь сумел таким наглядным образом демонстрировать «любовь» к своему народу. Должно быть, поселяне поняли, что в сознании государя кровь их стоит слишком мало, когда речь идет об интересах самодержавия.

А именно самодержавию должны были служить военные поселения. И если бы собрать все трупы, которыми народ на протяжении многих лет расплачивался за царскую затею, пожалуй их и хватило бы на путь между Петербургом и Новгородом.

Летом 1817 года, еще прежде описанных событий, петербургские светские красавицы с радостью приветствовали знатного и редкого гостя, резко


С. Ш.

выделявшегося на балах белой черкесской. Но сам гость был мрачен и задумчив и, видимо, балы посещал больше из чувства долга. Он только что прибыл из Херсонской губернии, вытребованный Комитетом по военным поселениям. Это был наказный атаман Бугского казачьего войска, полковник кн. Кантакузин.

Ему было о чем призадуматься. Он оставил бугские станицы, воспламененными огнем возмущения при известии о переводе их в военные поселения. Три полка Бугского казачьего войска, сформированные в 1803 году, должны были быть об'единены с четырьмя полками Бугской уланской дивизии и поступить на поселение в Херсонской губернии.

Едва распространилось это известие весною 1817 года, как в Кременчуге, в Крюковом посаде замелькали разбитные уланские офицеры, прибывшие для приемки аммуниции из тамошнего депо. Скучая в Крюкове, они постоянно толклись в кременчугских магазинах, забирая товары «в долг», оттирали местных щеголей в городском саду и в театре. А охотнее всего забирались под вечер в кременчугский клуб, где резались в карты и дули водку. На взводе языки у уланов развязывались и как-то стали они об'яснять своим собутыльникам, что, мол, царь определил их в поселения, дабы дать им возможность обогатиться, ибо станицы изобильны землею, а казаки с семействами будут работать на них.

В это время за соседним столом послышался шум. Казацкий есаул в седых усах, с молодыми, горящими глазами, сверкавшими из-под спутанных бровей, резко отодвинул стул и, подойдя к уланам, тяжело стукнул кулаком по столу. Посуда жалобно зазвенела.

— Не бывать этому! — крикнул он, тяжело переводя дух. — Бугские казаки не попустят такого унижения.

— Бунт!.. — визгливо выкрикнул маленький уланский корнет, совершенно пьяный, неслушающейся рукой вытаскивая палаш.

Не глядя на него, есаул продолжал: «Войско Бугское имеет грамоту, в которой сказано, что никаким переформированиям оно подвергнуто быть не может. И бугские станицы и впредь останутся такими же свободными».

Он пошел к выходу. В зале поднялся смешанный гул голосов. Офицеры сразу протрезвели. За скупыми словами есаула слышалась откровенная угроза. Уланы это почувствовали. Когда есаул был уже в дверях, толстый и лысый ротмистр, старший по чину в собрании, крикнул ему вдогонку:

— Как вас зовут, капитан?

— Зовут меня есаул Барминский, — отвечал тот. — Впрочем, нам с вами еще, должно быть, доведется встретиться.

2

С этого дня и начались тревоги наказного атамана. Едва полковник открывал глаза, как его начинали осаждать донесениями о беспорядках в разных станицах.

Волнение росло, распространялось вширь и вглубь. То в одной, то в другой станице возникали беспорядки. Как пламя, разливались по станицам страшные слухи об ожидающей их участи, а в сознании казаков упорно засела вера в какие-то «милости», дарованные войску Екатериной II. Начальство растерялось. Долго спорили о том, кому отправиться об'ясняться с казаками. Выбор пал на

майора Романовского, тучного, кривого старика. Он проделал Аустерлиц и Бородино, потерял глаз, правую кисть, был дважды контужен, но зато из фельдфебелей вышел в офицерские чины. И за эполеты держался крепко.

Некогда лихой рубака, а теперь обрюзгший и желчный, как большинство калек, он явился перед казаками в парадном облачении, при всех орденах и регалиях. Казаки встретили его недружелюбно.

— Чай, твоя спина уже зажила от побоев с тех пор, как начальством стал? — услышал Романовский вызывающий голос, когда еще поднимался на сооруженный наспех помост. Он быстро оглянулся, но перед ним расстилалось однообразное море голов. Раздался сдержанный смех.

— Небось, чужие-то спины лупцевать сподручнее, чем свою подставлять? — услышал майор тот же голос. Майор не был красноречив. Он злобно замигал одиноким глазом и, не найдя, что сказать, начал-было читать высочайший манифест. При первых же словах казаки зашумели, заглушая торжественные слова манифеста.

— Будете слушать? — кричал Романовский.

— Не будем! — раздался гул голосов.

— Будете исполнять указ царский?

— Не будем!..

Тут только Романовский нашел нужные слова.

— Думаете, сукины дети, что картечи на вас не найдется? Всех к чертовой матери перебьем, все войско в Буге потопим, а уж военные поселения будут.

Он еще тяжело выругался, взгромоздился на коня и ускакал.

Новые власти повсюду встречали открытое и резкое сопротивление. Дело было, конечно, не только и не столько в слухах о екатерининских

«милостях». Много было причин к тому, что бугские казаки не хотели допустить военных поселений. И между ними главная заключалась в остром недостатке в станицах земли, которой едва хватало по числу душ.

Полковник Кантакузин производил себя от греческих императоров. Но доказательства «высокого» его происхождения уводили в такую седую древность, что теперь считаться этим родством никак не приходилось. Впрочем, в настоящем у Кантакузина было нечто более существенное, нежели сомнительные родословные разведки. От покойного родителя досталось ему с братом несколько тысяч душ на Украине. Магическое сияние орденов и звезд предпочитая тусклому блеску кос и серпов, он уступил все имение старшему брату, от которого за то получал круглую сумму ежегодно. А сам пошел в царскую службу, в чаянии отличий и почета, достойных потомка древних венценосцев.

Однако, вопреки всем ожиданиям, отличия лепились крайне медленно на молодцеватую грудь Кантакузина. А теперь эта несносная история грозила смешать все его карты. С утра, еще лежа в постели, Кантакузин брезгливо морщился, выслушивая бесконечные донесения о беспорядках в разных станицах. В одном месте казаки захватили станичную печать, в другом воспротивились переписи своих семейств и т. д., и т. п.

Он и точно был в тягостном положении, этот выхоленный полковник, лучше всего умевший щелкать шпорами по столичным гостиным. Был он из числа тех, которые в те времена именовались «либералистами», или попросту «крикунами». Смутно начинал сознавать, что самодержавие становится уже тесным для России, что крепостное право отживает свой век, что оно тормозит сво-

бодное развитие отечественной промышленности. Ему и брат писал из имения, что устроил он какую-то фабрику и не знает, как быть, потому что даровая рабочая сила невыгодна.

Чувствуя необходимость каких-то перемен, Кантакузин враждебно встретил известие о введении военных поселений, видя в них мощный рычаг, который должен укрепить старый строй. И еще чувствовал он себя худо от сознания беспредельной веры в него бугских казаков, которых и сам любил, а теперь должен был предать их на жестокое бедствие.

Кантакузин искал встречи с майором Барминским, которого молва упорно называла вожаком движения. Но Барминский не показывался в собрании, не ночевал дома. Он словно в воду канул, чтобы внезапно об'явиться в самом кабинете Кантакузина в сопровождении двух казаков, Бибиченки и Гетманченки, депутатов от Бугского казачьего войска.

На их просьбы о защите Кантакузин отвечал официальными наставлениям и советами исполнять цареву волю. Он был мрачен. Незадолго перед тем наказный атаман получил повеление незамедлительно выезжать в Петербург, в Комитет по военным поселениям.

Вот тогда-то, отмахав безостановочно долгий путь, Кантакузин со стесненным сердцем и танцовал мазурку на петербургских балах, ожидая вызова в Комитет. Вызов не заставил себя долго ждать.

3

В урочный день Кантакузин с невольным волнением вошел в пустой белый зал, походивший на громадную тюремную камеру. Скупые окна забра-

ны до половины железными решетками. На гладко выбеленных стенах только два портрета в рамах под императорскими коронами: приземистый, курносый Павел в треугольной шляпе и с тростью в руке. И напротив — весь легкий, стремительный император Александр, затянутый в черный мундир, с загадочной, недоброй улыбкой на лице. Посередине — дубовый стол под традиционным красным сукном с тяжелой золотой бахрамой. А над сукном вытянутые фигуры и напряженные лица членов комитета, ожидающих своего председателя. Кантакузину показалось, что они не менее его тревожатся этой предстоящей встречей.

Граф Аракчеев вошел в сопровождении ад'ютанта и быстрыми шагами направился к своему месту, не подарив присутствующих ни единым взглядом и не отвечая на подобострастные поклоны. Военный министр, генерал-адьютант, всесильный временщик, он оставался выскочкой в сознании всех этих титулованных, сиятельных генералов, вынужденных гнуть перед ним спину. Сын бедного новгородского помещика, обучавшийся у безграмотного сельского дьячка и достигнувший высот необыкновенных, Аракчеев был остро ненавидим, даже независимо от его дел, за самое свое положение, ставившее его неизмеримо выше всех этих звездоносцев, считавших себя сродни Рюрику и Гедимину. Он постоянно чувствовал глухую, напряженую ненависть, струившуюся вокруг него, и платил тою же манетой.

— Читай положение! — кивнул Аракчеев ад'ютанту, резко опускаясь в председательское кресло. Кантакузин с ужасом слушает жесткие статьи положения. Под мундиром сердце его разыгрывает какую-то необыкновенную симфонию. Тяжело опираясь о стол, он встает, готовый возражать. В ши-

тых золотом погонах генералы по бокам его в ужасе переглядываются. Не решаясь поднять глаза, Кантакузин ощущает на себе леденящий взгляд временщика. Он не находит слов и безвольно, как кукла опускается снова на стул.

— Продолжайте, — обращается председатель к ад'ютанту.

Чтение кончено. Все также молча, Аракчеев покидает зал заседаний и скрывается за дверью кабинета. Бренча шторами, ад'ютант обносит вокруг стола «Положение». Генералы угодливо вскакивают и спешат приложить свою руку к страшному документу.

Кантакузин думает, что с такой же готовностью эти бездушные царедворцы подписали бы повеление о расстреле их жен, их детей, только бы сохранить свое положение при дворе и заслужить новую милость государя. И когда ад'ютант подносит ему «Положение», Кантакузин нетвердо отводит протянутую бумагу.

— Что вы делаете? Вы себя губите! — с нескрываемым ужасом шепчут генералы.

— Я нахожу многие статьи «Положения» несообразными с целью дела — улучшить быт Бугского войска. Голос Кантакузина срывается и подозрительно вибрирует, но он все-таки доканчивает: «А потому совесть не позволяет мне утвердить своею подписью эту бумагу».

Ад'ютант колеблется и нерешительно мнется на месте. Он знает, что, переступив порог аракчеевского кабинета, он обрекает на гибель ослушника, и ему, должно быть, искренно жалко достойного офицера. Но Кантакузин непреклонен, и адьютант, пожимая плечами, направляется в кабинет.

В зале наступает тягостное молчание. Генералы явно сторонятся Кантакузина, как прокаженного.

Ад'ютант появляется снова, приглашая Кантакузина к графу.

Просторный кабинет скупо освещен несколькими свечами на письменном столе. Аракчеев поднимает свинцовый взгляд и спрашивает, растягивая слова:

— Ты не подписал Положения?

— Ваше сиятельство, позвольте об'яснить причину...

— Ты не подписал?

— Моя совесть не позволяет мне...

— Ты не подписал, — не слушает его Аракчеев. — Теперь слушай меня: видишь ли эти белые листы? Посмотри на подпись внизу — узнаешь ли ее?

Кантакузин наклоняется над кипкой белых листов и узнает подпись государя: «Александр» и внизу тяжелая сетка витиеватого росчерка.

— Что будет, — продолжает Аракчеев, — если я на одном таком листе напишу, что полковник Кантакузин, за ослушание начальству, лишается чинов и дворянства и ссылается в Сибирь?..

Кантакузин тяжело переводит дух. Жуткое слово «Сибирь» и царский росчерк в углу белого листа как-будто гипнотизируют его. Выдержав паузу, Аракчеев говорит:

— А что ежели я напишу, что полковник Кантакузин, за усердие к службе, награждается производством в генерал-майоры и анненской лентой?..

Полковник задыхается и молчит. Но уже Аракчеев знает, что сделка закончена: бугские казаки проданы за голубую шелковую ленту. Под неуклюжими каракулями немца генерала Мартоса появляется подпись: «Полковник Кантакузин»...

На утро следующего дня Кантакузин получил ядовитую бумагу из военного министерства: «Желая доказать свое неограниченное доверие и, с

тем вместе, предоставить господину полковнику Кантакузину случай удостоверить усердие свое к службе», Аракчеев поручил ему самому привести к повиновению бугских казаков. Во исполнение чего предписывалось ему немедленно выехать в Вознесенск.

В БУГСКИХ СТАНИЦАХ

4

Снова длинный, кажущийся бесконечным, путь. В дороге Кантакузин обдумывает свое положение. Анненская лента дается ему не дешево. Поручение Аракчеева не только «противно его совести», но при настоящем положении казачества попросту опасно. Кантакузин надеялся только на преданность к нему казачества. Авось, как-нибудь обойдется...

Огромные толпы бугцев встретили полковника в Вознесенске. Беспредельное море голов волновалось и шумело под окнами войсковой канцелярии. Наказный атаман поднялся на крыльцо и успокаивающе протянул руку. Толпа сразу замолкла, стало так тихо, что Кантакузин, как тогда в Комитете, явственно услышал неровные удары сердца. Казаки напряженно ждали, уверенные, что атаман привез им избавление. Кантакузин обвел глазами толпу. В самом центре ее он угадал седую шапку волос Барминского и рядом с ним молодые, задорные лица урядника Бибиченко и линейного казака Гетманченко, тех самых, которые приходили к нему депутатами.

Кантакузин об'явил царскую волю. Военные поселения будут, казаки должны подчиниться монаршему указу. И тотчас все снова пришло в дви-

жение. Полковник увидел угрожающе поднятые кулаки, ожесточенные лица, и сквозь нестройный гул голосов отчетливо услышал:

— Не бывать тому! Не станем исполнять царскую волю! Коли атаман предал нас, тогда сами сумеем за себя постоять!

Это он услышал оттуда, из самого центра, и почувствовал ядовитое жало упрека. Он озлобился от этого напоминания, от сознания, что мосты сожжены, связь его с казаками порвана. И уже чувствуя себя не «отцом-командиром», а обыкновенным слугою, агентом Аракчеева, стал бросать в толпу злые, жестокие слова, грозя за ослушание тягчайшими наказаниями.

— В Сибирь, в Сибирь вас всех!.. — рычал Кантакузин, вспоминая ледяной взгляд военного министра и белые листы с царским росчерком в правом углу. Его угрозы действовали на бунтовщиков, как порох. «Разбить канцелярию! Смерть атаману!», — услышал Кантакузин ожесточенные крики, и затем покрывающий их трубный голос:

— Стойте, ребята! Еще не время!

Кантакузин повернулся на звук этого голоса и увидел над толпой седую голову есаула Барминского, поднятого на руки.

— Это не резон убивать да громить, — взывал есаул. — Пойдем по своим домам, по своим станицам, вооружимся, подготовимся, и тогда вооруженной рукою будем защищать дома свои и землю свою от вторжения.

Так и было. Станицы, как бы перешли на осадное положение, выслали дозоры и караулы, и по всем правилам тактики и стратегии отражали регулярные войска. В первые же дни, с той и другой стороны оказались раненые и убитые.

Голубая лента, не успев коснуться плеча Канта-кузина, уже предательски сползала с него. Совершенно потеряв голову и не зная, как поступить в «столь необыкновенных обстоятельствах», войсковой атаман отнесся за указаниями к графу Витту, начальнику Украинской уланской дивизии.

Иностранный авантюрист, человек более чем сомнительных нравственных качеств, с давних пор стремившийся построить свою карьеру на двуличии и шпионаже, известный лжец и вор, Витт был нелюбим Аракчеевым, обладавшим одним положительным качеством — элементарной честностью. Нерасположение временщика тормозило карьеру ловкого пройдохи, который теперь, наконец, поймал счастливый случай выслужиться. В пространном донесении к военному министру Витт из'яснял, что войсковой атаман обманул доверие его сиятельства, имев возможность легко и скоро в самом начале прекратить неустройство. «Ныне беспорядки таковое уже получили распространение, что не столь легко окажется их прекратить, — писал Витт. Но беззаветная преданность его величеству и вашему сиятельству и неусыпная бдительность в соединении с твердой рукою, смею верить, сумеют предотвратить распространение сего зла».

Аракчеев не замедлил с ответом. Он рекомендовал Витту действовать «благоразумным внушением страха», «решительно об'явив бургцам, что всякий из них, кто дерзнет противиться точному исполнению повелений его величества, будет наказан и отправлен в Сибирь». В дальнейшем Витту предложено было «поступать по обстоятельствам».

Витт почувствовал, что руки у него развязаны. Со всей округи потянулись войска по направлению к Вознесенску, штаб-квартире дивизии. Бес-

сонной, настороженной ночью чуткий слух казаков ловил отдаленный равномерный топот пехоты, цокание копыт кавалерии, погромыхивание артиллерийских орудий. Войска шли сплошной вереницей. И в этих отдаленных шумах казаки слышали свое поражение. Как могли бороться они, вооруженные берданами и пиками, против этого несокрушимого кулака из стали и железа?

На утро казаки снова были собраны перед войсковой канцелярией в Вознесенске. Поодаль, растопырив железные лапы, разверстыми жерлами уставились на них четыре орудия. На крыльце стоял уже не Кантакузин, а Витт, чистенький, свеже выбритый, сияющий, будто именинник.

В сторонке, в уровень с пушками, высился новенький аналой и старичок, полковой священник Колыванского пехотного полка, зябко потирал ручки, отягченные дешевой позолотой богослужебного облачения.

Казаки уже знали, что бой они проиграли. Но на приказание Витта «присягать без рассуждений» ответили хмурым отказом и не тронулись с места. Масленистые глазки Витта вспыхнули хищным огнем. Он сделал знак по направлению к пушкам. Артиллеристы стали заряжать фитили.

Так, в виду направленных на них орудий с заженными фитилями, вознесенские казаки принесли присягу на верность подданства государю императору и поклялись беспрекословно исполнять цареву волю.

2

Вечером Витт в собрании угощал господ офицеров. Хлопали пробки, рекой лилось шампанское. Гарнизонные офицеры, давно отвыкшие в своем

захолустья от кутежей, тяжело и некрасиво хмелели, не в пример бравым уланам, лихо опрокидывавшим бокалы. Маленький корнет, которого недавно так перепугал Барминский, передразнивал сутулившегося в углу майора Романовского, шопотком именуя его «унтер-офицером Александром Македонским». Толстый ротмистр льстиво заглядывал в глаза Витту, шумно восторгаясь его распорядительностью и отвагой.

Еще и еще взлетали в потолок пробки. Витт был скуп и расчетлив, но сегодня он праздновал величайшую победу, одержанную не здесь, над беззащитными казаками, а там, в далеком Санкт-Петербурге, в хмуром здании военного министерства. Торжество его, однако, было преждевременным.

Тем же вечером происходило еще и другое собрание на старом заброшенном гумне, за чертой Вознесенска. На копне сена, подперев седую голову кулаком, сидел мятежный есаул в окружении нескольких казаков. Заговорщики совещались, видимо, уже давно, не приходя ни к какому решению. Противник был силен, безмерно силен, с ним нельзя было бороться. Необходимо было найти средство хоть на время парализовать его силы.

— Как же быть, батько? — пытливо спрашивал Бибиченко. — Тебе-ж ведомо, что мы на все готовы! Подпалить надо — подпалим, убить — убьем!

Барминский поднялся, оглядел казаков и сказал раздельным шопотом:

— Убить Витта...

Глубокой ночью охмелевший Витт проснулся от скрипа ставни. Он тревожно приподнялся на

локте и вдруг в темной раме оконного переплета увидел незнакомого казака с вытянутым пистолетом в руке. Генерал пронзительно закричал и, как был, в одном белье, со сехавшим на бок колпаком, бросился вон из комнаты. Грянувший наудачу выстрел не поймал его. Дикий крик генерала и выстрел перебудил весь дом, сразу же наполнившийся топотом ног и звоном оружия. Казака поймали, поймали и его сообщника, дежурившего внизу. Только тогда, когда им на руки и на ноги набили колодки, Витт отдышался и поправил колпак на голове.

Казаков пытали тут-же, в канцелярии. Первый, стрелявший, до крови закусив руку, так и не раскрыл рта. Второй, совсем молодой, безусый казаченка, под пыткой рассказал о собрании на гумне и повторил страшные слова есаула Барминского.

Барминский!.. Это имя, как пламя, разносилось по мятежным станицам, повсюду, где возникало сопротивление властям. А в каждой станице во время приведения к присяге повторялось примерно то же, что и в Вознесенске. Нередко казаки вступали в открытый бой. Женщины с детьми на руках бросались под ноги всадникам, атакующим их мужей. Старики, едва слезавшие с печей, становились в ряд с молодежью.

Но уже виттовские собутыльники, по его наущениям, не стеснялись средствами. Лихо вели они в атаку свои эскадроны, рубя и кроша без разбора. В одной станице, особенно упорствовавшей, отступающих казаков загнали к самому Бугу. Они бесстрашно бросались в воду и гибли, проклиная своих палачей. Толстый ротмистр, командовавший уланами, среди отступавших узнал седые усы и горящие молодые глаза мятежного есаула.

— Мы и точно встретились! — крикнул Барминский, разряжая в него свой пистолет. Ротмистр осел в седле, выпустив поводья. Ошалевший конь увлек его в мутный Буг, в котором со стонами и проклятьями гибли разбитые казаки.

Восстание было раздавлено, затоплено в потоках крови. Тогда начался военно-полевой суд, тянувшийся около полугода. Свыше шестидесяти человек приговорены были к смертной казни.

Прочтя приговор, Витт недовольно пожал плечами. В самом деле, столь жесткие меры представлялись крайне неполитичными. Необходимо было проявить «милосердие», «гуманность», ибо ведь самая организация военных поселений официально мотивировалась гуманными чувствами царя. А уж какая тут гуманность, если расстреливают несколько десятков человек только за то, что они не поняли благих намерений монарха?

Поэтому Витт полагал должным ограничиться вменением арестованным в наказание долговременного содержания под стражей, «во внимание, что они действовали не по собственному побуждению, но главнейше по внушению», Барминского-же, Бибиченку, Гетманченку и двоих казаков, покушавшихся на генерала — расстрелять. Аракчеев утвердил приговор, но, продолжая эту игру в милосердие, заменил Бибиченке и Гетмаченке расстрел ссылкой в Сибирь «в уважение их прежних заслуг».

На плацпарадной площади Вознесенска глубоко в землю врыт высокий столб. Позади него зияет неглубокая яма, согласно инструкции: «глубиною, как роют для могилы, а шириною, чтобы тела троих человек могли уместиться». Лицом к столбу выстроен взвод колыванцев с заряжен-

ными ружьями. Площадь со всех сторон оцеплена войсками.

Кузнец расковывает юного казака. Его первым привязывают к столбу. Он бледен, белее широкого смертного балахона, надетого поверх арестантского платья. «Я не виноват!» — кричит он в то время, как ему завязывают глаза. Нестройный залп обрывает его слова. Тело казненного медленно сползает по столбу в могилу.

Вторым на очереди казак, стрелявший в Витта. С той минуты, как его схватили, он не проронил ни слова. Молчит и теперь, ненавидящими глазами загнанного волка глядя на стройную фигуру графа Витта. Он только брезгливо морщится, когда ему повязывают платок. Солдаты карательного взвода, спеша и волнуясь, сыплют порох на полки. Руки у них дрожат, на глазах у многих слезы. Новый залп — по белому савану бегут алые полосы. Но казак только ранен, он еще жив. Генерал Витт ругается, кричит на офицера и батальонного командира за то, что солдаты их не умеют стрелять. Казаку приходится умирать дважды.

Кузнец уже расковал Барминского. Он сам идет к столбу, покуда отвязывают мертвое тело. «Не надо платка, — говорит он резко. — Я сызмальства научился глядеть смерти в глаза».

Та же история. Солдаты не могут хорошенько целиться. После первого залпа Барминский остается жив.

— Подлый опричник! — кричит он Витту. — Стреляй сам, если не сумел других выучить искусству палача.

Сердобольный унтер подбегает к истекающему кровью Барминскому и ударом штыка кончает его страдания.

3

Долог и страшен этапный путь в Сибирь. Семь тысяч верст отмеряют узники ногами, прежде нежели доберутся до Нерчинских рудников. Без теплой одежды, без денег, они будут днем жестоко мерзнуть на холодном пронизывающем ветру, прикрывая лица грязными тряпками с прорезями для глаз, тяжело передвигая ноги, до костей из'еденные оковами. А коротким ночным отдыхом — будут ворочаться вповалку на нарах, в грязных и тесных тюрьмах. Так будут итти они полтора года...

В Московском тюремном замке добросердечный врач велел временно снять с Бибиченки оковы, иначе он не дойдет и до Нижнего. От слабости и отвыкнув свободно передвигать ноги, Бибиченко поминутно терял равновесие и шел, опираясь на плечо товарища.

Из Ярославля вышли ранней весной. Ровная сибирская дорога тянулась бесконечной лентой, уходя в безвестную даль. По ту и по другую сторону лежала равнина, лишенная красок и плоская, как блин, перемежающаяся болотами и ржаными полями.

Бибиченко заметно поздоровел. «Чуешь?» шепнул он товарищу, широко раскрытым ртом вдыхая дразнящий запах воли. Гетманченко с сомнением смотрит на свои закованные ноги. «Ничего, авось справимся, — лихорадочно шепчет первый. — Все ведь лучше, чем так погибать.

Ночью в остроге барабанщик, выйдя за нуждою во двор, увидел на невысокой стене две колеблющиеся тени. Барабанщик забил тревогу. Покуда снаряжал погоню, по беглецам открыли огонь. Один, путаясь в кандалах, тяжело пробежал не-

сколько шагов и упал, пораженный свинцом в спину. Другой вобрал голову в плечи, пригнулся к земле и утонул в темноте.

Полгода спустя, в самые крещенские морозы, закутанный в меховую шубу, в крытом возке ехал в Бугские станицы прапорщик Владимир Николаевич Вихарев. Шел ему всего восемнадцатый год. Он только что выпущен был из известной школы колонновожатых в квартирмейстерскую часть и определен в округ военных поселений.

Он заметно волновался. Столько ужасов наслышался Вихарев о тех местах, куда он ехал, что по мере приближения начинал ощущать растущее беспокойство. Кроме того, на Вихареве лежало ответственное и тайное поручение. Перед самым назначением его в жизни Вихарева произошло два крупных события. Он обручился с Китти Бородиной, дочерью старого и брюзгливого сенатора. А вскоре после того стал членом тайного сообщества, именовавшегося Союзом Благоденствия.

Это была та тайная организация, из которой выросли впоследствии Южное и Северное общества декабристов, подготовившие революционные взрывы 1825 года. Еще не успели достаточно отчетливо определиться ни конечные цели, ни тактика заговорщиков, но уже намечался между ними раскол. Тогда как петербургская и московская организации прочно усвоили умеренно либеральный курс, ограничивая свою деятельность «медленным действием на умы», южные заговорщики, возглавляемые полковником Пестелем, уже резко свернули влево, поставили в порядке дня вопрос о необходимости насильственного ниспровержения существующего строя, политического и социального. А первоочередной задачей считали пропаганду в войсках, завоевание армий.

Вечер накануне от'езда из Тульчина, штаб-квартиры II-ой армии, где он прожил последний месяц, Вихарев провел в кабинете Пестеля, от пола до потолка заставленном книжными полками. Кроме хозяйна, был там еще один член тайного общества, майор Раевский, приятель поэта Пушкина, всегда поэтому возбуждавший в Вихареве жгучее любопытство. С юношеским восторгом заслушивался он живыми рассказами майора о всевозможных шалостях и эскападах ссыльного поэта. Раевский не раз передавал ему и потайные листки с запретными плодами пушкинской музы, и Вихарев по ночам затверживал наизусть оду «Вольность», «Деревню», а потом представлял себя с цареубийственным кинжалом в руке.

Но на сей раз Раевский не склонен был к воспоминаниям о своих встречах с Пушкиным. Страстный и горячий пропагандист, неуклонно сеявший семена революционной заразы в среде беззаветно преданных ему солдат, Раевский вдохновенно рассказывал о своих успехах и говорил о необходимости связаться с военными поселениями.

— Один шаг за Днестр, в Вознесенск, — и там все, как порох, вспыхнет, и пойдет, как огонь, как лава, — говорил он. И говорил не случайно. Ибо и хозяин, и гость хорошо знали, что именно туда, в Вознесенск, умчит наутро Вихарева почтовая тройка. На прощание, крепко пожимая ему руку, Пестель поручал Вихареву хорошенько разведать дух и настроение военных поселян и при первой верной оказии отписать ему.

А на утро звякнули колокольчики, гикнул ямщик. Алые губки и золотистые косы Китти, заговорщики, стихи Пушкина — все осталось позади, а перед юным прапорщиком Вихаревым расстилалась безбрежная даль и где-то, на самом

краю ее, таинственные и страшные военные поселения.

Не доезжая верст ста до назначения, Вихареву повстречался одинокий оборванец, зябко кутавшийся в лохмотья. Вихарев ужаснулся при виде этой замерзающей фигуры и предложил несчастному подвезти его. Когда Вихарев об'яснил, что едет в станицу Федоровскую, оказалось, что и незнакомец направляется туда же. Он робко сел рядом с прапорщиком, и тот с невольной брезгливостью поглядел на грязную одежду незнакомца. Но вспомнил о своем высоком звании члена тайного общества, борющегося за всех таких несчастных, и уже весело велел ямщику трогать.

На последней станции, когда незнакомец вышел поразмяться, Вихарев обратил внимание на то, что он волочит ногу, будто каторжник, долго носивший кандалы. Вихарев подозрительно оглядел своего спутника. Молодое лицо с дерзкими глазами неровно заросло густой, давно нечесанной бородой. Волосы спутались и тяжелой шапкой давили большой открытый лоб.

— А издалека-ли идешь, любезный? — спросил Вихарев. Прохожий с готовностью, словно заученый урок, отвечал, что он из Киева, куда был отпущен на оброк своим барином. А теперь барин потребовал его к себе, да дорогой, на постоялом дворе, его избили и ограбили, почему он и оказался в столь бедном положении. Вихарев с сомнением покачал головой. «А не беглый ли он?» — мелкнула в нем мысль. — «Впрочем, мне то какое дело?» — И они поехали дальше.

4

Прошло еще около месяца. Предстоял высочайший смотр. Начальство стало внимательно при

слушиваться к жалобам военных поселян на нестерпимость требований, на убытки, на зверские расправы. Начальство потому и прислушивалось внимательно к этим жалобам, что должен был приехать государь и эти жалобы могли дойти до его ушей. А как он к ним отнесется — предугадать было трудно.

Граф Витт обрел простейший выход из положения. Он распорядился запретить военным поселянам, помимо команды, подавать жалобы царю. Это предписание, отнимавшее единственный легальный способ самозащиты, казалось, снова переполнило чашу терпения. В станицах возобновилось брожение.

За несколько дней до приезда царя Вихарев заканчивал письмо полковнику Пестелю. Он писал, что повсюду наблюдает «решительное неудовольствие в угнетенных поселениях и большую готовность к возмущению». По его убеждению, поселяне «при первом же призыве легко могут покуситься на всякие крайности». Он заверял Пестеля в своей безпредельной преданности делу тайного общества и готовности на любые жертвы. И внизу сделал приписку: «При сем приложенное письмо прошу переслать с надежным человеком Екатерине Андреевне Бородиной в собственные руки». И стал писать невесте:

«Кажется мне, что уже долгие годы я лишен счастья лицезреть Вас, дорогая и несравненная Китти. Какими бесконечно далекими кажутся вечера, проведенные подле вас. Вы должны мне посочувствовать, ибо временами я чувствую себя крайне несчастным, не имея даже с кем поговорить и сократить свой редкий досуг. Попав сюда, я увидел себя окруженным отбросами человечества. Да, да, это именно так, и я совершенно убежден, что

только те, кто вовсе нетерпимы в гражданском и военном быту цивилизованной страны, ищут убежища в военных поселениях. Я окружен ворами, садистами и убийцами, облеченными в офицерские мундиры, подобные тому, который я до сих пор почитал за честь носить.

Впрочем, не оплакивайте меня, дорогая Китти. Я бодр духом, но только здесь я впервые ощутил ужас бытия. Ибо за лепными амурами на потолках, за кокетливыми мезонинами, за точно отполированными улицами, словом, за всем этим внешним блеском скрывается такая нищета, такая забитость, такое беспредельное отчаяние, что кровь цепенеет в жилах.

Глаза, в которых кажется навеки запечатлелся страшный испуг, вымученные движения, фигуры, изнуренные непосильным трудом, дети, оторванот родителей, девушки, по жребию выдаваемые замуж, все это, подобно кошмару, преследует меня...»

Он не кончил, потому что в дверь постучали. Вбежавший денщик театральным шопотом прошипел: «Началось». Вихарев поспешил на улицу и увидел, что точно «началось».. На дворе, на котором обыкновенно происходили учения, собралась самовольная сходка. С разных концов уже спешило несколько офицеров, а издали слышался людской топот. Должно быть шли кадровые войска.

Перед толпой Вихарев узнал одноглазого майора Романовского, неудачного усмирителя прошлогоднего возмущения. Майор повторил поселянам запрещение встречать и приносить лично жалобы государю и пытался учить их ответам, на случай, если государь станет спрашивать об их новом быте. По толпе перекатывался глухой гул недовольства. Один поселянин, выйдя вперед, резко сказал:

— Я год назад подавал жалобу по команде, а на нее по сию пору ответа не имею. — Майор не нашелся, что возразить и велел арестовать поселенца за недоверие к властям. Но толпа зашумела: «Когда берете одного, то берите всех под караул».

Вихарев с затаенным дыханием наблюдал за этой сценой, не зная, на что решиться. Майор явно терял голову. Топот пехоты приближался. Из толпы вышел новый поселенец.

— Я казак, а не другого звания, — кричал он. — И никакой силой не запретите нам подавать жалоб!

В его фигуре, манере говорить, в том, как сочувственно поддакивала ему толпа, чувствовался вожак. Вихарев вгляделся в него и вдруг узнал недавнего оборванца. Только теперь на нем была старая казацкая куртка. И в то же время Романовский закричал не своим голосом:

— Да это же Бибиченко, каторжник, — и схватил говорившего за плечи. Толпа вырвала Бибиченку и угрожающе двинулась на майора. Но уже верные колыванцы бежали с примкнутыми штыками...

Затем новый суд и новая расправа с виновниками возмущения в Федоровской и других станицах, в которых повторялось то же самое.

Когда забитого до полусмерти, окровавленного Бибиченку бросили на землю, кто-то прикрыл его курткой. На куртке болтались медаль и георгиевский крест за войну 1812 года. Запавшими глазами он огляделся и, увидев неподалеку Витта, из последних сил сорвал эти знаки монаршей милости и бросил их в лицо генералу.

Через несколько дней, в сопровождении пышной свиты, прибыли царь и граф Аракчеев. Александр, все с тою же недоброй улыбкой, обходил чистенькие перенумерованные избы, хвалил жирные щи,

любовался кумачевыми скатертями и лепными амурами. Вечером он благодарил Аракчеева и затем ускакал дальше.

ЧУГУЕВСКИЙ БУНТ

I

Летом 1819 года прапорщик Вихарев переведен был в округ Чугуевского уланского полка. Он уже успел ко всему приглядеться, и если сердце его не зачерствело еще, то во всяком случае впечатлеющее действие страшных картин, свидетелем которых ему приходилось быть, уже притупилось, как у врача, всякий день привыкшего наблюдать человеческие страдания. Вихарев хорошо знал, что несчастных крестьян, обращенных в военных поселян, употребляют в работу наравне со скотом, что даже дряхлых стариков сгоняют с печей и заставляют на своих волах возить камень и лес.

Не лучше было и положение поселенных солдат. Как-то дивизионный командир Лисаневич, старый служака и, по-своему, незлой человек, подойдя к группе отдыхавших уланов, спросил, довольны ли они своим новым положением? Уланы заученно гаркнули: «Рады стараться». Но один, с глубоким шрамом от сабельного удара, не вытерпел и воскликнул:

— Ваше благородие, как же это? Когда нас вели сюда, то обещали домоводство и покойную жизнь, а на поверку вышел один обман.

Смельчака прогнали сквозь строй, а солдаты продолжали влачить каторжную лямку, именовавшуюся военными поселениями. Учение производилось обыкновенно с 6 ч. утра до 11 и с 2 до 10. В промежутках солдаты должны были выкорчевывать лес, рубить дрова, осушать болота, короче,

производить весьма тягостные работы, от которых, к тому же, за долгие казарменные годы они успели совершенно отвыкнуть. И после всего этого, измученные, едва волоча ноги, они обязывались, согласно предписанию, «лихо» с песнями возвращаться домой, где голодали и холодали, потому что строители, увлеченные лепными амурами, забыли сделать в домах печи.

Теперь Вихарев уже не надеялся «смягчать жестокие нравы». Он хорошо понимал, что военные поселения не представляют собой нечто самодавлеющее, а являются продуктом социального и политического строя, тяготеющего над Россией. В письмах, посылавшихся с оказией, товарищи его по заговору писали Вихареву, что организация поселений представляет собой военную барщину, которая со временем должна создать в государстве новую опричнину, верную и сильную опору трона, страшную своей полнейшей изолированностью и автоматической подчиненностью воле начальства.

Читая эти тревожные строки, Вихарев настороженно приглядывался к поселянам. Нет, покуда в них нельзя было угадать будущих опричников. В их среде чувствовалось плохо скрываемое возмущение, охватывавшее не только крестьян, но и поселенных солдат. В воздухе определенно пахло гарью. Достаточно было присмотреться к тревожному настроению офицерства, чтобы ощутить близость нового пожара.

Верный своим обязанностям заговорщика и стараясь лучше выполнить поручение Пестеля, Вихарев вскоре по приезде в Чугуев напросился в ремонтеры и в первых числах августа выехал в Харьков на ежегодную «Успенскую» ярмарку, рассчитывая там приглядеться и прислушаться к

настроениям. Вихарев на первых порах был совершенно ошеломлен невиданной им дотоле картиной.

Ярмарка представляла собой огромный и шумный город с бесконечными стройными улицами, каждая из которых посвящена была особому виду товаров. Улица чая пересекалась улицей тряпья, железная улица упиралась в шерстяную. И так дальше, как казалось Вихареву, без конца, тянулись, пересекались, змеились кольцами эти торговые улицы, четыре раза в год как бы внезапно возникающие на пустом пространстве, чтобы через несколько дней столь же внезапно исчезнуть. Грохот подвод, повозок, тачек, ржание коней, шум, крики, песни, пестрое смешение одежд и языков — англичане и французы, финны и греки, персы и бухарцы — все это ошеломляло воображение и отвлекало Вихарева от его прямой цели. Он не спешил покупать лошадей, а больше приглядывался к лицам, прислушивался к разговорам и всякий раз при этом ощущал напряженное настроение, господствовавшее и на ярмарке

Однажды, обедая в трактире, Вихарев заметил в углу за столиком нового своего сослуживца, такого же, как и он, юного прапорщика Пылаева. Пылаев беседовал с двумя поселенными солдатами, — факт сам по себе необыкновенный. Но при этом у Пылаева было такое наивно-заговорщицкое выражение лица, такой театральный шопот доносился с его столика, что Вихарев сразу заинтересовался и, дождавшись ухода уланов, окликнул прапорщика.

Они пошли вместе в гостиницу. Дорогой Вихарев поделился с Пылаевым своими наблюдениями. Прапорщик сделал сразу таинственное лицо и загадочно усмехнулся. Некоторое время они шли

молча. Потом Пылаев заговорил. Сколь ни был юн и неопытен Вихарев, он с первых же слов понял, что собеседник испытывает его прежде нежели сделать какое-то важное признание. В уме Вихарева сразу мелькнула мысль о заговоре. Но Пылаеву не суждено было открыть свою тайну. В гостинице их ожидал измученный фельдегерь, с головы до пят облепленный грязью. Он передал им секретный пакет. Все господа офицеры немедленно вызывались в штаб дивизии. Пылаев побледнел. — «Что случилось, голубчик», — спросил он фельдегеря.

— Известно, что, — неохотно отвечал тот. — Всякое неустройство и беспорядок начались.

— Я погиб, — вырвалось у Пылаева.

Долгое время они ехали молча. Вихарев ожидал, чтобы спутник его сам раз'яснил загадочное свое восклицание. Наконец Пылаев не вытерпел.

— Прапорщик, ради бога, не выдавайте меня, — говорил он срывающимся шопотом. — Это ведь наших рук дело. Мы возбуждали военных поселян к возмущению. Уговаривали солдат на случай восстания быть заодно с их братьями-крестьянами... И вот теперь вдруг началось... Что же это будет? Ведь народ наш не подготовлен, не созрел. Это-ж будет новая пугачевщина...

Не доезжая до Чугаева верст двадцати, при в'езде в Корчевку, Пылаев вздыбил коня и, как показалось Вихареву, нарочно свалился на землю, подвернув руку. Там, в корчевской корчме он и остался, отрапортовавшись больным. Вихарев в одиночестве продолжал свой путь, раздумывая над тем, что его ожидает и какую роль он должен избрать в предстоящих событиях.

Прапорщик Пылаев, когда только еще прибыл в округ военного поселения, совершенно искренне

негодовал на угнетенное положение поселян. Воспитанный в доме отца, помещика средней руки, переведшего крепостных своих на оброк, Пылаев глубоко усвоил отцовские гуманные взгляды, оказавшиеся в таком резком противоречии с картинами величайшего порабощения, которые предстали его глазам. И Пылаев с юношеским восторгом откликнулся на внушения дивизионного ад'ютанта Кареева, исподволь и осторожно сеявшего в поселенных войсках семена возмущения. Пылаев не доучел того только, что одно дело уничтожать тягостную барщину в своих поместьях, а совсем иное— поднимать бунт. И в решительный момент, перед лицом начинавшегося восстания, в нем властно заговорил социальный инстинкт, оттолкнув его от мятежных народных масс и заставив почувствовать себя членом и сыном дворянской громады, оказавшейся под угрозой чугуевского возмущения.

Он капитулировал. Хуже того, застряв в Корчевке, он оказался в роли дезертира, постыдно пытавшегося спрятаться не столько от реальной опасности, сколько от той ответственности, сознание которой вытекало из уверенности, что он является одним из главных виновников событий. И в этом Пылаев конечно жестоко ошибался, ибо Чугуевский бунт должен был произойти неизбежно и независимо от одиноких офицерских попыток.

2

Повод к мятежу был незначительный и чисто случайный. Поселянам Чугуевского округа приказано было скосить 130 тыс. пудов [1] казенного сена для полковых лошадей. Исполнение этого нового требования, не в зачет всех прочих, неизбежно

[1] Около 2.200 тонн.

должно было повлечь за собой запущение их собственных хозяйств. Поселяне решительно отказались выходить на покос.

С этого и началось возмущение, сразу же охватившее вся и всех, не исключая улан, уже успевших вкусить от прелестей поселенной жизни. Если в самом начале щедрые словесные излияния правительства насчет ожидающих их бесконечных благ и способны были кого-то обмануть, то с течением времени всякие иллюзии рассеялись и истина вставала во всей своей отталкивающей наготе.

Железная узда дисциплины, еще недавно направлявшая солдат на усмирение крестьян-поселенцев, и та теперь оказалась недостаточно крепкой. И солдаты действующих эскадронов с одушевлением откликнулись на призыв Кареева «стоять заодно с их отцами и родными».

Это и было самым страшным. Совершенная готовность солдат примкнуть к восстанию сразу же обусловила остроту и крайнюю серьезность положения, которую по достоинству оценил генерал Лисаневич. Как прежде того Витт, Лисаневич поспешил стянуть к Чугуеву войска, окружив город сплошным кольцом. Это было совершенно необходимо, ибо из всех окрестностей население спешило в помощь чугуевцам, и Лисаневичу приходилось оттеснять его обратно, арестовывая наиболее смелых и решительных.

Вихарев приехал в самый тот день, когда генерал Лисаневич, собрав чугуевцев на городской площади, вместе с губернатором тщетно пытался увещевать их. Чугуевцы упорно стояли на своем, заявляя, что ни они, ни дети их военного поселения не желают и вперед не допустят.

Волнение уже успело перекинуться в округ Таганрогского уланского полка и докатилось до са-

мого Харькова, что было также весьма опасным вследствие большого стечения там народа, привлеченного ярмаркой.

Наблюдая растущее возмущение, Вихарев испытывал тайную тревогу, причины которой затруднялся сам себе об'яснить. Может быть, имей он сейчас случай поговорить по душам с Пылаевым, отсиживавшимся в Корчевке, Вихареву легче было бы разобраться в своих ощущениях, ибо тревога того и другого шла из весьма родственных источников. На совещаниях заговорщиков тогда еще очень редко, и то как бы вскользь, говорилось о предстоящей революции. Но и в этих случайных разговорах народу в революции вовсе не отводилось места, а солдатская масса должна была выступить организованно, под командой своих офицеров-заговорщиков, в качестве слепого орудия чужой воли. Притом революция отодвигалась куда-то в неопределенное будущее. И вдруг Вихарев оказывался свидетелем чего-то очень похожего на начало революции, при том революции народной, совершенно непохожей на ту парадную баталию, которую он рисовал в своем воображении.

«Новая пугачевщина», — вспоминались ему слова Пылаева, и он невольно трепетал в ожидании грядущих событий.

Вечером его вызвал к себе Лисаневич.

— Прапорщик Вихарев, — сказал генерал, впиваясь в лицо его острыми своими глазками, — вы изволили направляться сюда из Харькова вместе с прапорщиком Пылаевым. Не можете ли вы об'яснить, чем занимался ваш спутник в Харькове и почему внезапно задержался в Корчевке?

Волнуясь и заикаясь, Вихарев отвечал, что в Харькове он повстречался с Пылаевым перед са-

мым от'ездом, а в Корчевке Пылаев остался, сколько ему известно, вследствие неудачного падения с лошади и повреждения руки.

— Я обращаюсь к вам сейчас не как командир, — прервал его Лисаневич, — а как отец. У меня есть сведения о том, что прапорщик Пылаев и некоторые другие офицеры, в том числе, к моему стыду, даже ад'ютант мой, ротмистр Кареев, причастны к возмущению. Я готов был бы уважать вашу скромность, но в нынешних смутных обстоятельствах она — есть преступление. А потому советую вам обдумать свое положение и изложить письменно все, что вам известно по сему предмету. Виновные все равно понесут заслуженное наказание. Вы же исполните долг свой перед отечеством и государем и защитите себя от обвинения в соучастии.

— Но, генерал, мне решительно ничего неизвестно более того, что я сказал.

— Мое дело было предупредить вас, — резко оборвал Лисаневич. — Теперь еще один последний вопрос. Отечество наше переживает тяжелые минуты. Происходящие непорядки угрожают спокойствию и благополучию империи. Как дворянин дворянина спрашиваю вас: могу ли я положиться на вас, прапорщик, в сих смутных обстоятельствах?

— Ваше превосходительство, — воскликнул после тяжелого колебания Вихарев, — прошу вас арестовать меня. — Путаясь дрожащими пальцами в портупее, он отстегнул саблю и протянул ее генералу.

3

Граф Аракчеев, получив от Лисаневича донесение о начале восстания, немедленно выехал в

Харьков. Графские кони храбро месили непролазную грязь. Но, вопреки нетерпению Аракчеева, осенняя распутица и дурное состояние дорог тормозили его путешествие. Не доезжая Орла, Аракчеев получил новый рапорт Лисаневича, сообщавшего, что возмущение разростается. Ни уговоры, ни щедрые обещания милостей, ни всяческие угрозы не оказывали никакого действия. Мятеж охватил всех, до женщин и детей. На увещания Лисаневича мятежники отвечали криками:

— Не хотим военного поселения! Оно не что иное есть, как служба графу Аракчееву. Мы приняли решительные меры истребить графа, ибо наверное знаем, что с его концом разрушится и военное поселение!

Мятеж стягивался в стальное кольцо войск. Бунтовщики были уже побеждены, но еще не хотели признавать своего поражения. В Чугуевском полку арестовано было свыше 1.100 человек, в Таганрогском — около 900 Из них 313 человек, «как главнейшие преступники», преданы были военному суду, который 275 человек приговорил к «лишению живота». Тюрьмы, остроги, полковые гауптвахты были переполнены. Приговоренные мужественно ожидали смерти, а вокруг шумело восстание.

Такое положение застал по своем приезде Аракчеев. Он медлил с утверждением приговора. Он хорошо понимал, что пришло время кончать игру в милосердие, но все-таки массовая смертная казнь представлялась ему опасной и неполитичной. К тому же граф был верующим христианином. Поздним вечером он писал царю:

«По разным собственным моим о сем днем и ночью рассуждениям, с призыванием на помощь всемогущего бога, я вижу, с одной стороны, что

нужна решимость и скорое действие, а с другой, слыша их злобу единственно на меня, как христианин, останавливаюсь в собственном действии, полагая, что оное может быть по несовершенству человеческого творения признаваться строгим или мщением за покушение на мою жизнь. Вот, государь, самое затруднительное положение человека, помнящего свое несовершенство».

«Благочестивый» граф очень скоро обрел в своих размышлениях достойный выход из создавшегося положения, совершенно в духе казенного православия тех времен. Смертную казнь Аракчеев отклонил, как «несогласную с законами христианского милосердия». Расстрел он заменил наказанием шпицрутенами «каждого через тысячу человек по двенадцати раз». Значение такого приговора понимали тогда все, даже малые дети. Это была, конечно, та же смертная казнь, но медленная, изощренная, в течение которой человек успевал умереть не однажды, а бесчисленное число раз. Игра в милости была кончена и зверь показал свои когти.

Экзекуции предстояло растянуться на долгое время. В первый день предписано было наказать только сорок человек. Перед выходом на лобное место осужденным об'явили, что из'явившие раскаяние будут освобождены от наказания. Они отвечали хмурым, сосредоточенным молчанием. К месту экзекуции доставлены были все арестованные не только из самого Чугуева, но и из Харькова, Волчанска и Змиева. Аракчеев задался целью дать наглядный урок мятежным поселянам, притом так, чтобы он остался в памяти не у одних только наказуемых.

Было холодное и дождливое августовское утро. По краям плаца, под усиленным конвоем вытянулись огромные массы арестованных, которым предстояло извлекать уроки повиновения из страшного зрелища истязания их товарищей. За ними чернела толпа, оттесняемая солдатами. Все это представляло как бы живописную раму к картине в центре площади, где под косыми иглами дождя, без знамен и оркестра, с одними барабанщиками на фланге, выстроен был карательный батальон. Аракчеев в сопровождении Лисаневича, нескольких генералов и штаб-офицеров об'ехал фронт. Он слегка обернул голову и сделал знак полковому командиру.

— Слушай, на краул!— грянула команда, и пятьсот ружей взметнулись в воздухе. Аудитор вышел вперед и зычным голосом прочел сентенцию военного суда. Когда он умолк, Аракчеев выехал на середину плаца и, обращаясь к группе осужденных, серевшей в стороне, повторил, что раскаявшиеся будут помилованы. Он выжидательно смотрел на осужденных, но те стояли молча, не поднимая глаз. Аракчеев как будто медлил.

И вдруг произошло нечто необыкновенное. Прорвавшись сквозь цепь солдат, к осужденным подбежала молодая женщина, простоволосая, с лихорадочными пятнами, проступавшими сквозь смертную бледность лица. Обняв унтер-офицера, который первым значился в списке, оглашенном аудитором, она заговорила срывающимся голосом:

— Коханный мой, не проси пощады! Умри, но не дай проклятым палачам услышать твои мольбы.

— Не бойся, — глухо откликнулся осужденный, — я им не на потеху дался. Еще под Кульмом научился умирать.

Но уже другая, третья, одна за другой бежали женщины к группе осужденных. Между ними были и старухи-матери, и молодые — жены тех, кому несколько минут спустя предстояло принять смертную муку. И на устах у всех та же мольба:

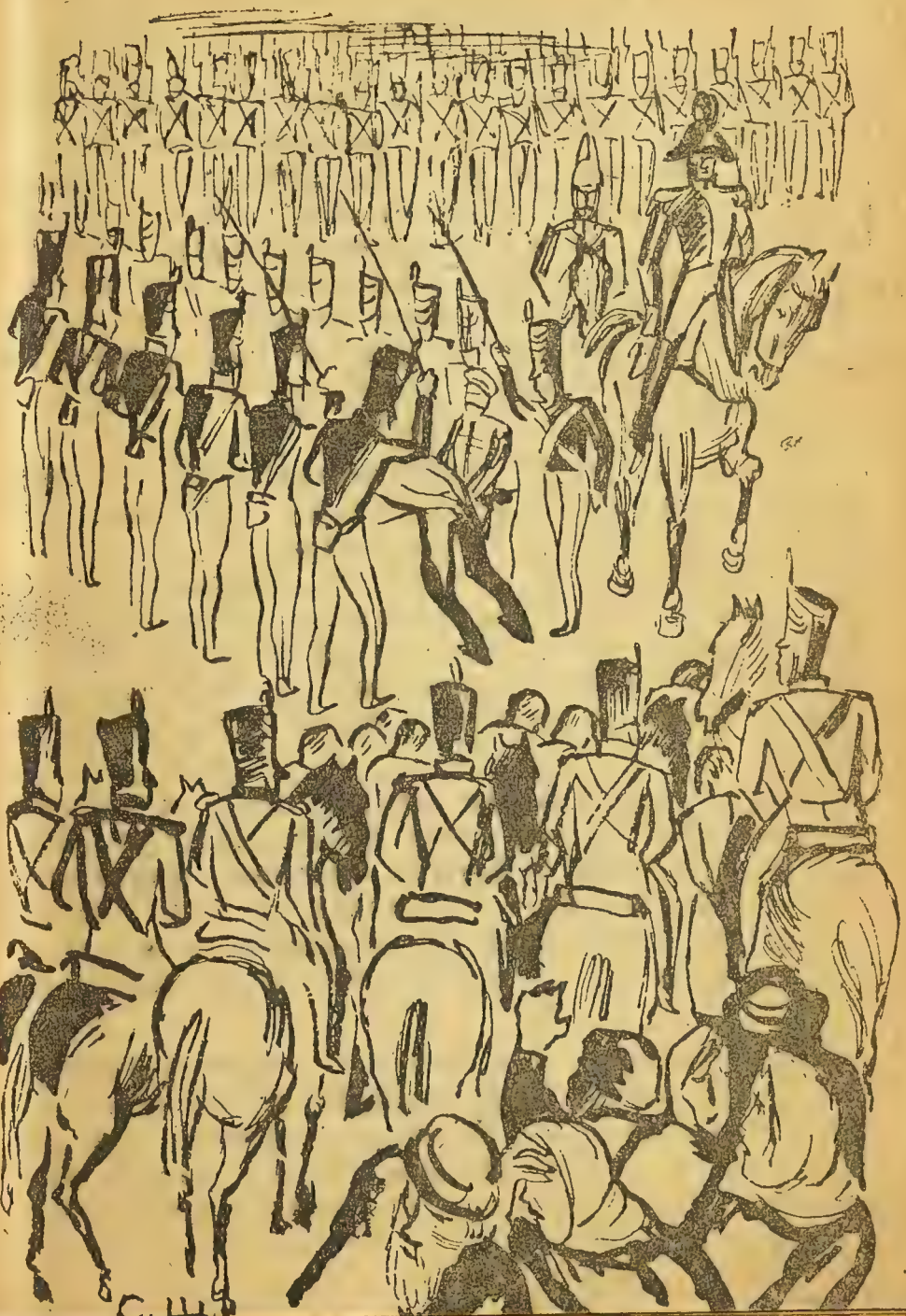
— Не проси пощады у извергов. Умри, но не унизься перед палачами!

Аракчеев с руганью подскакал к осужденным. Женщин оттеснили.

— На плечо! Тесаки в ножны, третья шеренга через ряд направо, вперед! Ряды вздвой, марш! — командует полковник. И мгновение спустя, снова: Смирна-а-а! Ружья в левую руку! Унтер-офицеры и барабанщики — по своим местам!

Между двух шеренг солдат, по двести пятьдесят человек в каждой, обращенных лицом к лицу, образуется узкая улица. По ней проходят профосы, раздавая солдатам смертоносные орудия пытки — шпицрутены, длинные палки, гибкие и тяжелые. Сейчас они 12 тысяч раз с методичностью машины опустятся на обнаженную спину осужденного.

Солдаты связывают ему кисти рук у самой чашки эфеса обнаженного тесака. Холодный конец стали упирается в его грудь и не дает ему ускорить шаг, чтобы избежать или ослабить хоть один из двенадцати тысяч ударов. Конвойный фельдфебель держит рукоять тесака и открывает смертный путь осужденного. Адская машина приходит в действие. Христолюбивый граф медленно едет вдоль фронта, проверяя добросовестность ударов. Если который-нибудь из солдат пощадит несчастного, он обречен сам на следующий день прой-



тись по этой же улице, которая обыкновенно обрывается могилой.

Кругом царит мертвое, напряженное молчание. Осужденный сперва идет бодро. В его ушах должно быть еще звучат слова жены. Он кричит что-то резкое и обидное по адресу генералов. Фельдфебель доводит его до конца фронта и поворачивает обратно. Так должны они пройти двадцать четыре часа. Постепенно крики истязуемого переходят в звериный рев. Спина, оголенная от покровов, представляет сплошную зияющую рану. Он падает, но с последним усилием поднимается и снова плетется, тяжело опускаясь на тесак, медленно уходящий в его грудь.

Пятый... десятый... пятнадцатый раз. Тишина кругом прорывается истерическими криками, слезами, проклятиями. Осужденный уже не идет: фельдфебель тянет за собой окровавленную груду мяса. Когда он заворачивает, чтобы открыть девятнадцатое шествие, тело, привязанное к тесаку, последний раз вздрагивает и вытягивается. Подошедший полковой лекарь констатирует смерть.

Труп убирают. Новая жертва таким же манером вступает на страшную улицу, залитую уже кровью и местами покрытую клочьями вырванного мяса. Может быть он слабее, а может быть кошмарная сцена убийства товарища подействовала на него, но он падает уже на двенадцатом туре.

— Продолжать экзекуцию! — рычит Аракчеев, не слушая лекаря, докладывающего, что истязуемый продержится не более 2—3 минут. Лекарь дает ему спирт. Он поднимается, но, пройдя несколько шагов, снова падает, скользя по острию

тесака, оставляющего кровавую полосу на его груди.

— На повозку! — гремит Аракчеев, подскакивая к фронту. Тело, дергающееся в конвульсиях, кладут на повозку истерзанной спиной вверх и медленно везут. Машина продолжает работать, покуда не истекают положенные двенадцать тысяч ударов. Истязуемый мертв.

Экзекуция продолжается. Аракчеев нервничает и злится. Он хотел и ждал слез, просьб о пощаде. Каменное спокойствие осужденных, героическое равнодушие, с которым они встречают смерть, проклятия, которые они, умирая, шлют своим палачам в треуголках и генеральских мундирах,— все это срывало его планы.

Вечером он пишет государю: «Ожесточение преступников до такой степени простерлось, что из 40 человек только трое, раскаявшись в своем преступлении, просили помилования: они на месте же прощены, а прочие 37 наказаны, из коих 20 отдали богу душу. По окончании сего дня экзекуции остальные преступники опрошены были, каются ли они в своих преступлениях, на что отвечали единогласным отрицанием».

На следующий день истязания возобновились.

8

Отстегнуть портупею и саблю свою вручить начальнику — от этого акта, несомненно, веяло трагическим героизмом. Отправляясь под арест, Вихарев чувствовал себя античным героем и гордо нес голову. Торжественное настроение не покидало его и на полковой гауптвахте, где он провел несколько приятных дней в обществе нескольких арестованных офицеров, в том числе Кареева и Пылаева, доставленного из Корчевки. Караульные

офицеры заходили поиграть в штосс, приносили вино и закуску, и в этой благодушной беспечной атмосфере будущее представлялось в радужном свете.

Но после того, как с гауптвахты бежал брат Кареева, отставной капитан, обвинявшийся в сочинении мятежникам просьб, арестованных офицеров перевели в городской замок, и там положение их резко изменилось. Камеры оказались тесные, грязные и сырые, дождь протекал сквозь гнилую крышу. По полу и по стенам шуршала всякая нечисть. Вихарев очень скоро стал никнуть и падать духом.

И за что он страдает? Он ведь не принимал участия в чугуевских событиях. Сохранить тайну Пылаева? — Но ведь он и Кареев все равно уже арестованы, и роль их в мятеже хорошо известна генералу Лисаневичу. Совесть прапорщика Вихарева, столь непреклонная в торжественный момент отстегивания сабли, с каждым днем делалась все гибче, все покладистее и сама же предупредительно подтасовывала факты. Не вытерпев, Вихарев потребовал перо и бумагу. Он ведь никому не повредит, только докажет собственную невиновность. Хромой инвалид принес ему обкусанное гусиное перо и несколько листов перенумерованной серой бумаги. Вихарев сел на койку и размашистым почерком, без помарок, изложил весь свой дорожный разговор с Пылаевым.

На следующий день Вихарева вызвали в штаб. Генерал Лисаневич был снова любезен и ласков.

— Радуюсь, прапорщик, тому, что вы отказались от губительного запирательства и тем вполне себя оправдали. Не менее того рад, что расследование установило полную непричастность вашу

к сим горестным происшествиям. Вы свободны. Вперед советую вам быть осмотрительнее.

Освобожденный с аттестатом, Вихарев поспешил исхлопотать отпуск, и ускакал к невесте в самые те дни, когда на Чугуевской площади мятежные солдаты и крестьяне кровью и жизнями расплачивались за любовь свою к свободе.

Расследование близилось к концу. Сверх наказанных шпицрутенами, около четырехсот человек оторвано было от своих семейств и хозяйств и переведено в дальние гарнизоны. Замешанными в восстании оказались и 29 женщин, которые сосланы были в Оренбург после «наказания на теле». Против имени каждой из них Аракчеев сам написал «высечь», а против имени Анны Дранищевой, той самой, которая первая прорвалась сквозь фронт в страшный день экзекуции, написал: «Высечь хорошенько и отослать в Харьков, в рабочий дом».

Прапорщик Пылаев, горько каявшийся в своем «преступном легкомыслии», отправлен был в Оренбургский гарнизон. Штабс-ротмистра Кареева военый суд приговорил к смертной казни. Лисаневич пытался вступиться за своего ад'ютанта, который сам, впрочем, не проявлял никакой склонности просить о помиловании, да и вообще при расследовании хранил упорное молчание. Однако заступничество Лисаневича повредило только ему самому: он получил высочайшее замечание за неуместное милосердие, а мятежного ад'ютанта император Александр распорядился заключить в одну из Оренбургских крепостей и содержать там впредь до повеления.

Раздавленные, замученные нечеловеческими пытками и истязаниями, обескровленные чугуевские поселяне успокоились не сразу. Долго еще

среди них шло открытое брожение, только постепенно уходившее вглубь, создавая обманчивую иллюзию успокоения. В начале октября Аракчеев уже извещал государя, что «все постепенно приходит в достодолжный порядок».

— «Благодарю тебя искренно от чистого сердца за все твои труды», — отвечал государь.

И тогда для поселян потянулись долгие, беспросветные годы каторжной жизни. Непосильный и непрерывный труд при мелочной и иссушающей регламентации, всевозможные повальные болезни, голод, побои за малейший проступок — таковы были характерные черты военных поселений.

Они росли необычайно быстро. Чудовищные щупальцы их все крепче, все шире охватывали Россию. К 1825 году корпус военных поселений состоял уже из 36 батальонов пехоты и 249 эскадронов кавалерии украинских и 90 батальонов пехоты новгородских поселений, — всего около 160 тыс. человек.

Хозяйственные успехи этого чудовищного опыта на первых порах как-будто оказались на большой высоте. Принудительным образом широко распространялись в военных поселениях сельское хозяйство и всевозможные ремесла. Покупать для продовольствия и обмундирования военных поселян почти ничего не приходилось — они все производили сами. Аракчееву удалось скопить запасный капитал до 50 млн. рублей — это ли была не победа для России, стоявшей на грани разорения! Александровские финансисты не учитывали только огромных расходов, которые несла казна по самому устройству военных поселений: в первые же годы истрачено было до 100 млн., не считая освобождения поселенцев от всех податей. И никто

еще тогда не знал о чудовищных хищениях, производимых в отдельных поселениях.

КОНЕЦ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

1

Осенью 1825 г. поручик Вихарев познакомился с приятелем Жуковского, литератором и елисаветградским помещиком Александром Карловичем Бошняком. Они повстречались на одном из многочисленных вечеров, которые с некоторых пор стал устраивать скупой и расчетливый граф Витт, начальник Украинских военных поселений. Это гостеприимство Витта имело свои причины. Вскоре после победы над мятежными поселянами, на Витта в дополнение к его прямым обязанностям возложена была императором Александром организация тайного надзора за направлением умов польско-украинского юга. Витт сумел подобрать нужных людей, а острый нюх старого авантюриста навел его, как казалось, на верный след, ведший к Чигринскому поместью Давыдовых, Каменке, штаб-квартире всех армейских «болтунов» и «либералистов», собиравшихся к сыну хозяина, отставному полковнику Василию Львовичу Давыдову.

Вихарев, близкий родственник Давыдовых, поддерживал тесную связь с Каменкой, рисовавшейся Витту гнездом всяческой крамолы. Поэтому граф постарался приблизить к себе и обласкать поручика, который по отзыву генерала Лисаневича однажды уже навлек на себя серьезные подозрения.

Случайно повстречавшись с Бошняком, Вихарев уже не отставал от него во весь вечер. На фоне «отбросов человечества», которыми был постоянно окружен юный заговорщик, Бошняк предста-

влялся ему человеком из иного мира. Путешественник и натуралист, воин и литератор, писавший чувствительные романы, Бошняк легко очаровал своего собеседника, которому к концу вечера уже казалось, что своего нового друга он знает с незапамятных времен. Будь Вихарев старше и опытне, ему должно быть показалась бы подозрительной чрезмерная откровенность Бошняка, оказавшегося отчаянным либералом, без стеснения поносившим правительство. Но Вихарев жадно ловил дерзкие речи Бошняка, восхищаясь его благородным образом мыслей и радуясь неожиданной встрече с единомышленником.

Дня через два Бошняк зашел к Вихареву на квартиру. «Друг мой, — начал он торжественно, плотно приперев дверь и оглядевшись по сторонам, — друг мой, я намерен открыть вам тайну, следствия которой могут произвести великие и благодетельные перемены в любезном нашем отечестве. При этом надеюсь на ваше благородство и скромность».

— Не сомневайтесь во мне! — горячо воскликнул насторожившийся поручик.

— Я верю вам, — продолжал Бошняк. Больше того, если я справедливо понял некоторые давешние намеки ваши, то могу даже надеяться на вашу помощь. Знайте же, что граф, с которым нас связывает многолетняя дружба, одухотворен одинаковыми с нами чувствами. Подобно мне, граф жаждет коренных государственных преобразований.

Вихарев побледнел. «Смею ли я вам верить?» — взволнованно спросил он.

— Я повторяю только то, что слышал от самого графа, — отвечал Бошняк. — Этот благороднейший и самоотверженный человек не раз гово-

рил мне о том, что за спиной его огромная и несокрушимая сила в лице украинских военных поселений. Эту силу он с великой радостью обратил бы на ниспровержение ныне существующего строя и преобразование отечества на священных принципах свободы, равенства и братства, если бы...

— Если бы?..

Бошняк выдержал долгую театральную паузу. Вихарев вплотную подошел к нему, не отрываясь смотря ему в глаза.

— Я буду с вами до конца откровенен, любезный друг, — как бы после колебания продолжал Бошняк. — Граф говорит, что столь великие дела не могут вершиться по произволу одного-двух лиц. Если бы и точно существовало общество благомыслящих людей, граф почел бы за счастье для себя присоединиться к сему обществу и отдать в распоряжение заговорщиков вверенные ему войска.

Вихарев не мог говорить. Губы у него пересохли и на лбу выступили крупные капли пота. Он горячо обнял Бошняка. В эту минуту, казалось ему, судьба России решалась.

3

Без труда получив отпуск, Вихарев через несколько дней поспешил в местечко Линцы, где помещался штаб Вятского пехотного полка, командиром которого был полковник Пестель. В кабинете Пестеля ничего не изменилось: попрежнему письменный стол завален был рукописями, картами и планами, а от пола до потолка поднимались полки с книгами, вз'ерошенными бесчисленными закладками.

Но в недрах тайного общества, как скоро мог заметить Вихарев, изменилось многое. То, о чем

Вихарев узнавал урывками из конспиративных писем товарищей, теперь, в разговорах Пестеля с другими вождями Южного общества, вырисовывалось вполне отчетливо. Первичные тайные общества — «Союз Спасения», вдохновлявшийся отвлеченными идеями политических преобразований, и затем «Союз Благоденствия», занятый преимущественно просветительной работой и существовавший почти открыто, — оказались организациями мертворожденными. Совершенно очевидный рост массового движения, углубление экономического кризиса и правительственная реакция, настойчиво вытравлявшая малейшие ростки оппозиции, — все эти явления содействовали окончательной диференциации в среде заговорщиков, из которых в одной части возобладали оппортунистические тенденции, тогда как другая все глубже проникалась революционными настроениями. Кризис заговора разрешился в 1821 г., когда тайное общество взяло решительный курс на строительство новых строго конспиративных ячеек.

Тогда-то на юге возникло Южное общество, возглавляемое Пестелем. В своем конституционном проекте, «Русской Правде», вдохновляемый идеей земельного передела, он проектировал частичную национализацию земли. Сословия уничтожались, вводилось всеобщее равенство. Россия должна была стать демократической республикой, единой и централизованной.

Революция мыслилась южным заговорщикам военной. Они сумели создать в солдатской среде кадры горячих адептов, при посредстве которых агитация и пропаганда шли в самую толщу солдатской массы. Но и Пестель, и его ближайшие сподвижники хорошо понимали то, какую огромную роль в предстоящих события могут сыграть

военные поселения, и учитывали необходимость иметь их на своей стороне. Однако до последнего времени связь с военными поселениями никак не налаживалась, не считая того, что Вихарев аккуратно, при всякой надежной оказии, информировал Пестеля о возбужденном состоянии военных поселян и о готовности их к возмущению.

Когда они наконец остались одни, Вихарев спеша и волнуясь, стал рассказывать Пестелю о своих открытиях. Пестель молчал. Когда Вихарев кончил, он сказал в раздумии:

— Лет десять назад, при самом еще зарождении заговора, когда я был столь же молод и доверчив, как вы, мне довелось беседовать с графом Паленом, убийцей императора Павла. — «Послушайте, молодой человек! — сказал он мне. — Если вы надеетесь достигнуть чего-нибудь посредством тайного общества, то это глупости, потому что если вас двенадцать, — двенадцатый непременно окажется предателем».

Из запертого бювара Пестель достал письмо и протянул его Вихареву. Письмо было от прапорщика Вадковского, такого же юного энтузиаста, как Вихарев. Он сообщал, что принял в общество унтер-офицера 3-го уланского украинского полка англичанина Джона Шервуда, который и передаст это письмо и который, пользуясь неограниченным влиянием на начальство украинских военных поселений, обещает использовать это свое влияние в интересах заговора.

— Это письмо, — сказал Пестель, — было мне передано человеком, производящим столь же нелестное впечатление, как и ваш конфидент, насколько я могу судить по впечатлениям, вынесенным из вашего рассказа. Члены общества становятся не в меру болтливы, — продолжал он рез-

ко. — Мы на каждом шагу нарушаем основные статуты общества, повелевающие нам быть сугубо осторожными и бдительными. Накануне решительных действий мы легкомысленной откровенностью всякий раз ставим общество под угрозу предательства.

Они долго еще обсуждали возможные последствия встречи с Бошняком. В заключение Пестель предложил Вихареву ехать в Петербург с поручениями к верховной думе Северного общества.

— В сих смутных обстоятельствах, — сказал он, — выгоднее, чтобы вы были возможно дальше от Витта и Бошняка. Мы сами здесь примем нужные меры, дабы выяснить степень достоверности всего, сказанного вам Бошняком.

Вихарев ушел с тяжелым чувством, смутно сознавая, что может быть допустил непоправимую ошибку. На следующий день он выехал в Петербург.

3

Тем временем, как политические проходимцы и авантюристы пытались втянуть заговорщиков в опасную игру, ставкой в которой служили военные поселения, в глухом городке на берегу Азовского моря готовилось событие, долженствовавшее резко ускорить ход событий. Едва Вихарев успел сделать несколько десятков верст, как его обскакал фельд'егерь, везший известие о том, что император Александр 19-го ноября скончался в Таганроге.

Смерть государя почиталась в тайном обществе условным сигналом к началу действий. Поэтому Вихарев отклонился от своего пути, чтобы повидаться с влиятельными южными заговорщиками и узнать у них о положении дел. Только в первых

числах декабря он приехал в Петербург и, едва успев переодеться с дороги, поспешил к матери, еще в Москве узнав, что она тяжело захворала. Целую неделю провел он у изголовья больной женщины, лишь однажды, на следующий день после приезда, побывав у вождя Северного общества — Рылеева.

На его лихорадочные вопросы Рылеев безнадежно развел руками. Присяга императору Константину в войсках встречена была довольно сочувственно. Не только в армии, но и в народе с именем давно отсутствовавшего Константина связывались всякие вздорные надежды. Можно ли начинать революцию, когда общество бессильно, когда деятельных членов мало, когда нет твердой опоры в войсках?

Рылеев был прав. В Северном обществе хорошо понимали, что судьбу революции решат войска. Возбужденное настроение гвардейских низов могло служить залогом успеха революционной пропаганды. Но петербургские заговорщики не пытались связаться и использовать мятежный дух гвардии. Рассчитывая всецело на преданность нижних чинов своим командирам-заговорщикам, петербургские карбонары в ответственный момент вынуждены были констатировать отсутствие у них уверенности хотя бы в одной воинской части.

Да и не так уж легко было петербургским заговорщикам увлечь за собой солдат. В Северном обществе, идеологом которого был Никита Муравьев, автор «Конституции», преобладали идеи буржуазного либерализма, весьма популярные тогда в среднепоместном дворянстве. Крепостное право, правда, уничтожалось, но крестьянам предоставлялись нищенские земельные наделы, сулившие им еще страшнейшее экономическое раб-

ство. Конечной целью являлась конституционная монархия с представительными учреждениями, доступ в которые преграждался высоким имущественным цензом.

Успешная присяга Константину в Северном обществе отзвучала подобно погребальному звону. Оппортунистические настроения взяли верх, и заговорщики спешно свернули боевые знамена. Но события шли своим чередом. Константин не принял престола. Предстояла новая присяга великому князю Николаю Павловичу, остро ненавидимому гвардией. Опрометчивость самого Вихарева и Вадковского, вызвавшая два доноса — Бошняка и Шервуда, ставила тайное общество под угрозу разгрома. Еще третий донос подан был капитаном Майбородой, членом Южного общества и ближайшим поверенным Пестеля, искавшим случая восстановить свою репутацию, пошатнувшуюся вследствие произведенной им казенной растраты.

Необходимо было на что-то решаться. После долгих и тяжелых колебаний петербургские заговорщики решились 14-го декабря, в день присяги Николаю, дать бой правительству.

Когда Вихарев 12-го декабря снова появился у Рылеева, он попал уже в совсем иную обстановку. Маленькая квартирка переполнена была заговорщиками. Разговор шел о планах восстания и все о той же проклятой слабости заговорщиков и о вероятности поражения. Из сообщений представителей различных воинских частей выяснилось, что роты, батальоны, полки, на которые еще вчера заговорщики всецело рассчитывали, ненадежны и едва ли примкнут к восстанию.

В этот решающий момент мысль заговорщиков снова и с особенной настойчивостью обратилась к соседним Новгородским военным поселениям, ко-

торые, казалось, могли и должны были стать могучим резервом революции.

Больной горлом, с лихорадочно горящими глазами Рылеев нервно позвонил в колокольчик. Наступило молчание.

— Поручик Вихарев только что прибыл из украинских военных поселений, — сказал Рылеев. — Полагаю, что для дела нашего в высокой степени интересно узнать впечатления, вынесенные г. Вихаревым из своего пребывания в поселениях.

Из соседней комнаты вышел немолодой уже офицер с тяжелым каменным лицом и грузной фигурой. Это был подполковник Батеньков, герой войны 1812-го года, получивший под Монмиралем десять штыковых ран и оставшийся в строю. Теперь он состоял при графе Аракчееве членом совета военных поселений. Вихарев обращался преимущественно к нему. Он говорил, что, вопреки обманчивому внешнему спокойствию, в украинских поселениях, как и шесть лет назад, всякую минуту может разразиться бунт, что поселенцы не помирились и никогда не помирятся со своим положением. Когда он кончил, все взоры обратились к Батенькову.

— Поручик Вихарев совершенно прав, — начал Батеньков, как будто с трудом ворочая языком. — Насильственная система водворения поселений повсюду и всеми принята была с ропотом и изумлением. После тяжкой войны, когда всякий ожидал в мире вожделенного спокойствия, внезапно войти в селения, военной рукой взять дома мирных земледельцев да и их самих в общий состав нового воинства—едва ли история всех времен и всех народов знает что-либо подобное! Правительство рассчитывает этой беспримерной военной барщиной убить сразу трех зайцев: сократить расходы

на армию, удвоить эту армию и создать в государстве обособленную воинскую касту, новую опричнину, которая непроницаемой броней станет вокруг шатающегося трона. Но правительство ошибается в своих расчетах. Знаете ли вы, что сказал английский полководец герцог Веллингтон, узнав о создании военных поселений? — «Видно, — сказал он—что русское правительство не боится штыков». Однако настанет такой час, и может быть он близок, когда правительство само содрогнется перед этой несокрушимой силой, когда эти штыки обернутся против Зимнего дворца! Глаза на каменном лице Батенькова разгорались зловещим огнем. И окончил он уже, грохоча, как те орудия, из которых он расстреливал французов под Монмиралем.

— Колыбелью испанской революции был остров Леон. Сдавшись без боя революционному испанскому офицерству, едва поддерживаемому горстью мятежников, остров Леон напитал революцию живыми соками, дал ей бесчисленные батальоны солдат, которые дон Рафаэль дель Риэго повел к новым победам. Наш остров Леон — там, в центре Новгородских поселений, на Волхове либо на Ильмене. Поручик Вихарев тысячу раз прав. В военных поселениях под пеплом тлеет пламя. Если понадобится, мы должны суметь раздуть его!

Рылеев подбежал к нему со слезами восторга на глазах.

— Верно, верно! — говорил он. — Военные поселенцы составят народную гвардию Российской революции.

4

Через два дня петербургские заговорщики были разбиты на Сенатской площади. Восстание, организованное весьма дурно, с первых же шагов свер-

нуло с намеченного пути, а руководители допустили целый ряд вопиющих стратегических и тактических ошибок. Но не в этом была обреченность восстания. Участь его решила не картечь Николая, а грозный призрак пугачевщины, мерещившийся петербургским заговорщикам. Новой пугачевщины, народной революции боялись они пуще всего. Мощный союзник их — народ, весь рабочий и ремесленный Петербург, стекавшийся к площади и готовый поддерживать мятежников, страшил их более, нежели направленные на них жерла пушек. Поэтому самому, вопреки настойчивым обещаниям «верных» полков присоединиться к восставшим, коль скоро те перейдут в наступление, заговорщики до вечера протоптались на месте.

По той же причине мысль отступить на военные поселения и возмутить их, казавшаяся недавно столь естественной, ни разу не явилась у руководителей восстания на площади. Поражение продставлялось им менее страшным, чем народная революция.

Вынужденное отречение Константина, петербургские события и начавшиеся аресты застали Южное общество совершенно врасплох. Уцелевшим заговорщикам оставалось либо сложить оружие и ждать разгрома, либо итти на риск преждевременного выступления. Они решились на последнее. Но смелая революционная попытка — восстание Черниговского полка — была сломлена, ибо мятежники не имели ни времени, ни возможности связаться не только что с военными поселениями, но даже и с полками, квартировавшими по соседству.

5

Поздним вечером 14-го декабря в Зимний дворец доставлено было несколько заговорщиков, ко-

торых успели арестовать на площади. Их приводили со связанными назади руками к новому императору на личный допрос. Последним в этот вечер доставлен был поручик Вихарев, захваченный на квартире Рылеева, куда он пошел прямо с площади, не желая делать мать свидетельницей своего ареста.

Во дворце, напоминавшем в этот тревожный день не то бивуак, не то с'езжую, царили суета и неразбериха. Ад'ютанты, ординарцы, фельд'егеря, офицеры и солдаты носились во все стороны, как угорелые. Арестованных приводили и уводили. В соседней зале на кого-то орал дворцовый комендант Башуцкий. Он крепко ругался, не стесняясь близостью высочайших особ.

Когда привели Вихарева, государь беседовал в кабинете с генерал-ад'ютантом графом Комаровским. Вихарева посадили у дверей в кабинет, так что он свободно мог слышать весь разговор. Государь поручал Комаровскому немедленно ехать в округа Новгородских поселений, дабы удостовериться в духе военных поселений. «Поселяне, — говорил Николай, — весьма подвержены духу возмущения. Разузнай все хорошенько и поспеши с ответом».

Этого ответа Вихарев уже не мог узнать, будучи замурован в камере Алексеевского равелина. Но Николай очень скоро получил ответ. Комаровский сообщал, что «известие о присяге вашему императорскому величеству, по удостоверению начальников, не вызвало особенного неудовольствия в военных поселках, каковых начальники уповают, что и самая присяга принесена будет безропотно». Ответ был малоутешительный. Николай поморщился словно от физической боли. Военные поселения внушали ему серьезные опасения, и если

бы можно было в политике следовать только своим внутренним побуждениям, он готов был, кажется, уничтожить их, вопреки всему и всем.

Страх Николая был не напрасен. Под пеплом тлело пламя. Варварский режим военных поселений, нисколько не изменившийся после воцарения Николая, постоянно увеличивал горючий материал. Пожар вспыхнул в 1831 году, когда по России гуляла холера и распространились зловещие слухи, что это «господа отравляют народ».

Этого случайного предлога оказалось достаточно, чтобы в Новгородских военных поселениях вспыхнул жесточайший и кровопролитнейший бунт, который подавить правительству удалось с величайшим трудом и то лишь благодаря неорганизованности восставших. Но разбитые поселяне добились своего. Правительство оказалось вынужденным приступить к уничтожению военных поселений, которые, постепенно сходя на-нет, окончательно ликвидированы были после Крымской войны.

ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От автора	5
Якорь спасения	9
Первый опыт	20
Самодержавие в тупике	26
Новгородские мятежники	32
„Царские милости“	43
Последнее сопротивление	57
Комитет по военным поселениям	62
В Бугских станицах	72
Чугуевский бунт	87
Конец военных поселений	105

Цена 50 коп.

№ 22-23 (356

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1. Правлению Издательства политкаторжан — Москва ГСП, 10, Лопухинский пер. 5; тел. 3-64-73; 1-31-26.

2. Магазину Издательства политкаторжан „Маяк“ — Москва, центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.